Агния Кузнецова

Земной поклон



АГНИЯ КУЗНЕЦОВА

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

Р2
К 89

Рисунки Н. Кравченко

К $\frac{70803-222}{М101(03)77}$ 263—77



Светлой памяти моей учительницы
Евгении Николаевны Домбровской

1

Вскоре после того, как отзвенел последний звонок и в ночь прощального бала выпускники до рассвета смущали покой города пением, смехом, звоном гитар и баянов, а в стол завуча легли списки будущих первоклассников, в школе начался капитальный ремонт.

Школу раздели догола и стали обколупывать стены. В учительской двое рабочих взгромоздились на грубо сколо-

ченные, пахнущие свежим деревом подмостки, снимали слои масляной краски и вдруг обнаружили вначале одну, потом другую, третью металлические буквы, привинченные к стене, и наконец их глазам открылось изречение:

Легче сделать воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как высшей ценности, чтобы с детства человек был другом, товарищем, братом для другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем.

Рабочие с интересом прочли написанное. Подивились сочетанию старинной прописи с очень уж современным содержанием. И долго недоумевали, что делать: снимать буквы или оставить до прихода прораба или директора школы?

В минуты их колебаний в коридоре послышались шаги, и мимо открытой двери стремительной походкой прошел учитель истории Николай Михайлович Грозный.

Степан, молодой рабочий, в прошлом году окончивший эту школу и провалившийся на экзаменах при поступлении на исторический факультет университета, окликнул учителя.

Тот, кто, естественно, с детства и на всю жизнь был обречен носить прозвище «Иоанна Грозного», вошел, щурясь от непривычного еще яркого света, заливающего комнату.

Это был совсем молодой человек с темными волосами, отпущенными несколько длиннее дозволенного учительской этикой, со светло-серыми глазами — внимательными и бездонно-прозрачными, с хорошими чертами лица — мужественными и в то же время нежными.

Лицо его привлекало не только красотой. Оно удивляло и задерживало внимание каждого быстрой переменой выражения глаз, нервным взлетом бровей и, главное, улыбкой, которая иногда словно озаряла его светом и детской ласковостью.

Ученицы с сожалением отмечали, что красоту учителя портил небольшой рост. И сам Николай Михайлович страдал от своего роста: он считал учителя в некотором роде актером и был уверен, что для него важна не только располагающая, но и представительная внешность. И то, что на иного ученика ему приходилось смотреть снизу вверх, доставляло ему серьезные огорчения.

— Ну как, рабочий класс? — подходя к подмосткам и улыбаясь своей удивительной улыбкой, спросил Степана учитель.

— Боюсь, что навсегда останусь рабочим классом,— ответил тот весело, но учитель уловил в ответе его затаенную грусть.

— Ну и что? Будешь хоть жить по-человечески,— сказал сверху пожилой сухопарый рабочий в замасленном, залитом краской комбинезоне, напоминающем живопись сверхмодных художников,— восемь часов на работе. Дальше сам себе хозяин, и денег вдосталь. А то вот, как Николай Михайлович, с утра до ночи в школе, ребята на шаг не отходят. И дома с ними, и в отпуск с ними в разные походы. Жениться и то не дают. Да и кошелек тоньше моего...

Николай Михайлович, запрокинув голову, взглянул на рабочего и засмеялся, но вдруг заметил буквы на стене, оборвал смех, быстро отошел от подмостков и вслух прочитал изречение.

— Удивительно, правда? — поспешно спросил Степан, поглядывая то на учителя, то на стену узкими глазками, по которым безошибочно можно было определить русско-бурятское происхождение Степана.— Совсем современный лозунг! Значит, и в старые времена были настоящие люди?..

Николай Михайлович не ответил и шепотом перечитал изречение.

— Это был дом капиталиста Саратовкина. Богатейшего человека в Сибири... И вдруг такие слова! — удивлялся пожилой рабочий.— Интересно, кто же придумал их и кто привинтил к стенке?

— Саратовкины жили не здесь,— возразил Степан.— Здесь был приют — детский дом по-нашему. Приют этот носил имя Саратовкина... Правда, Николай Михайлович? Помните, как в шестом классе мы сажали деревья около школы и, когда рыли яму, нашли ржавую-прержавую железную вывеску: «Сиротский дом М. И. Саратовкина». Помните, Николай Михайлович? Как же звали Саратовкина?

Николай Михайлович заметно разволновался. Вытащил из кармана пиджака сигареты. К ним, присев на лесах, потянулся сверху пожилой рабочий. А Степан спрыгнул вниз и тоже с удовольствием взял сигарету из рук учителя. В эту минуту Степан почувствовал, каким он стал взрослым, рав-

ным тому, от кого когда-то прятался в туалет с папиросой. А теперь вот открыто курит его сигареты!

— Саратовкиных было двое,— затягиваясь и стряхивая пепел на грязный пол, сказал учитель,— отец и сын. «Сиротский дом М. И. Саратовкина» — это приют, основанный отцом, Михаилом Ивановичем, с целью эксплуатации детей. А сын его — мой тезка — Николай Михайлович после смерти отца преобразовал этот сиротский дом в настоящий детский дом нашего типа. Давал сиротам среднее образование и специальность. Это был замечательный педагог, о котором, к сожалению, мы еще так мало знаем. Говорят, он и революционерам помогал. Но так ли это, неизвестно. Проверить нужно. Архивы поднять. Изучить. Да вот все времени не хватает. А изречение это, я думаю, его.

— Его, его! — убежденно сказал пожилой рабочий, с уважением посматривая на буквы.

— Нельзя ли сохранить эту надпись на стене? — спросил Грозный.

— Почему нельзя? Можно! — одновременно заговорили оба рабочих.— Только вот как директор?

— С Павлом Ниловичем я поговорю сегодня же,— ответил Николай Михайлович.

Через некоторое время Павел Нилович с интересом читал изречение на стене, то приближаясь, то отдаляясь от подмостков. Потом, невзирая на преклонный свой возраст, чрезмерную полноту и одышку, он взгромоздился на леса.

— Русский человек глазам не верит,— несколько раз негромко повторил он, ощупывая пальцами металл, из которого были сделаны буквы,— а я к тому же физик. Мне тем более любопытно. Медь... качественная медь...

Он спустился на пол. Вытер вспотевшее широкое лицо с тройным подбородком, добродушное, как у большинства толстяков, осторожно промокнул и лысину, аккуратно наискосок прикрытую реденькими длинными волосами.

— Слова-то хороши,— неуверенно и как бы с сожалением сказал он, обращаясь к Николаю Михайловичу,— да кто их сочинил, неизвестно... Однако надо бы учителям всегда перед глазами такую фразочку иметь. Образование-то мы даем. А вот воспитание... Воспитанием не каждый, ох, не каждый занимается!.. Вот она, проблемка-то вековая! И тогда, стало быть, существовала и теперь существует... Но ведь лозунг-то прямо-таки коммунистический: «...дру-

гом, товарищем, братом»! — повышая голос и поднимая вверх пухлый указательный палец, закончил он.

Убедив самого себя, Павел Нилович загорелся и воскликнул с пафосом:

— Конечно, надо сохранить изречение. Почистить медь. Пусть горит на стене и доходит до сердца каждого учителя!

И изречение это с начищенными буквами засияло в учительской на фоне свежевыкрашенной стены.

Учителями оно встречено было по-разному: кое-кто криво усмехался, принимая его за упрек. Некоторые разводили руками, считая это очередным чудачеством Павла Ниловича. Большинство же к появлению в учительской этого изречения отнеслось как к нужному и уместному напоминанию о самом главном в их работе.

2

Николай Михайлович остановился у окна и взглянул на аллею городского парка. «Удивительная выдалась осень»,— подумал он, любуясь расцвеченными в причудливые цвета еще не опавшими листьями.

— Свежа, как весной красавица, только наряд переменила,— вслух сказал он о березе, которая окутала стройный белый стан свой яркой желтизной.— А рядом-то — ай-яй-яй! Какой пронзительно яркий бархат!

Но, несмотря на красоту парка, поднимавшегося напротив его дома, несмотря на удачно прошедший день, какое-то приглушенное беспокойство тревожило его — не то какие-то недодуманные мысли, не то подсознательное недовольство собой. Впрочем, это чувство возникло не сегодня, а уже давно, пожалуй, с самого лета. Иногда ему казалось, что это результат утомления. Быть учителем и классным руководителем не по обязанности, а по влечению нелегко. И это желание писать... Так много хочется высказать на бумаге. Словами вылепить образы молодых людей, которые окружали его, с их сложным отношением к миру.

Первого сентября был день его дежурства по школе. Он выбрал самый трудный день, когда в стенах школы появляются малыши и в глазах их — страх, радость, торжество. И вот звонок. Первый звонок в их жизни. И тишина школьных коридоров, такая неожиданная, непривычная тишина...

Николай Михайлович стоял тогда в коридоре у окна вот так же, как сейчас дома.

Он увидел, как по асфальтовой дорожке, ведущей к школе, старик торопливо вел опоздавшего на урок, плачущего первоклассника с огромным, уже немного помятым букетом цветов.

Вечером опять он вспомнил опоздавшего мальчика и старика. И так несколько дней неотвязно в мыслях его возникали эти двое. В перемены он подолгу разглядывал в учительской металлические буквы, врезанные в стену.

А сегодня в школу не пришла учительница химии. Ее урок в восьмом «А» был последним, и ученики рассчитывали пораньше уйти домой.

Николай Михайлович вошел в класс и, когда все сели и установилась обычная тишина, сказал:

— Есть два предложения: первое — пойти домой.

— Домой! Мы — за! — дружно отозвались ребята.

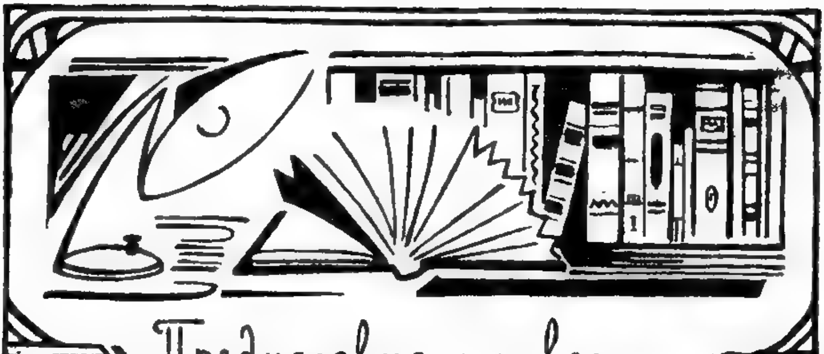
— Но есть и второе предложение...

Класс затих.

— Если хотите, я прочту вам начало своей повести. Мне нужна ваша консультация, а возможно, и помощь.

Класс захотел. Не из вежливости. Искренне.

— Названия пока нет,— сказал Николай Михайлович, доставая из портфеля папку с рукописью.



Предисловие к повести Николая Михайловича Грозного

Первого сентября в безлюдном в этот ранний утренний час переулке встретились двое: старик, тяжело опирающийся на массивную трость, одетый в длинное, старомодное пальто, и мальчуган в новой школьной форме, с новым ранцем за спиной и букетом цветов, которые он держал в охапке, бережно и неловко прижимая к груди. Мальчик бежал по улице, опустив голову. Он наскочил на старика и остановился. Испуганный взгляд припухших, заплаканных глаз ребенка встретился с внимательными глазами старика. Мальчуган вдруг понял, что перед ним тот, кто все поймет и поможет, и громко заплакал, невнятно выговаривая слова: «Соседка проспала... мама в ночную смену...»

Старик наклонился, участливо расправил помятый букет и, взяв горячую ручонку, повел мальчика в школу.

Он понимал, какое безутешное горе переживал его маленький спутник. Опоздать в первый день поступления в школу, в тот день, о котором мечтал, наверное, не один месяц!..

А ребенок успокоился, доверился старику и семенил рядом с ним вначале по тротуару, потом по асфальтовой дорожке, а затем по притихшему коридору школы в учительскую.

Старик передал мальчика заведующей учебной частью. Оторвавшись от большой прохладной руки, ребенок на мгновение снова ощутил страх, и опять заплакал. Но учительница ласково отняла от глаз мальчика мокрые кулачки, похвалила его букет и сказала, что ничего страшного не случилось, уроки только что начались и она сейчас отведет его в класс.

Поблагодарив прохожего, учительница повела мальчика по коридору. У дверей класса малыш оглянулся, но старика уже не было.

Опираясь на палку и придерживаясь свободной рукой за перила, старик с трудом спускался со второго этажа. На площадке лестницы он задержался. Задержался не для того, чтобы перевести дух... Ему не хотелось уходить из школы. Так хорошо и до слез горько было вслушиваться в эту родную, знакомую тишину, с чуть доносящимися из классов голосами учителей и едва уловимым постукиванием мела о доску.

Лет десять назад, когда из педагога он превратился в пенсионера, ежегодно первого сентября он подходил к школе и вот с таким же чувством, как сейчас, смотрел на бегущих учеников, мелькающие белые фартуки, воротнички, цветы, на озабоченные лица учителей, к которым в эти минуты он испытывал тяжелую зависть.

День первого сентября для него стал самым мучительным днем. А потом это прошло. Он перестал подходить к школе, даже забывал этот день, перестал тяготиться бездельем, одиночеством, ни о чем не вспоминал, ничего не жалел, никому не завидовал. Наступила глубокая созерцательная старость, в которой, как и в каждом возрасте человека, есть свой смысл и привязанность к жизни.

Тяжело передвигая ноги, старик спустился с широкого крыльца, но выйти из двора школы у него не хватило сил. И он присел тут же во дворе на скамейку.

Боль воспоминаний, охватившая его в школьном коридоре, уже унялась. Мысли приняли другое направление. Что же, жизнь прошла! Любимый труд, желания, огорчения, радости — все ушло. И теперь казалось прочитанной книгой — не о себе, а о каком-то другом Николеньке, Николае Саратовкине, учителе Николае Михайловиче... Но хотелось, даже было необходимо, чтобы эту книгу прочел тот малыш, опоздавший в школу, и его товарищи, которые сейчас первый раз сели за парты. Взволнованные, торжественные, они слушают своего учителя, и каждое слово его кажется им откровением.

Иначе зачем существовать на земле этой книге о жизни учителя Саратовкина, если она не будет откровением для тех, кто пришел ему на смену?

3

Николай Михайлович кончил чтение... Некоторое время в классе стояла напряженная тишина. Ученики пытались справиться с охватившими их впечатлениями, в которые вплелись и буквы на стене учительской... И здание школы, где когда-то был приют, принадлежащий миллионеру Саратовкину. И старик Николай Михайлович Саратовкин... И, наконец, их классный руководитель «Иоанн Грозный», за которого весь класс — «в огонь и в воду»!

Первым поднял руку Семен Неверов. Николай Михайлович дал ему слово. Семен встал, но, вспомнив, как всякий раз на подобных собраниях учитель говорил: «Сиди, сейчас не урок, а товарищеская беседа», сел, положив перед собой на стол длинные руки. Несколько мгновений он как бы впервые и с любопытством изучал потолок, затем прокашлялся, переменил позу, точно ему — самому длинному в классе — было не очень удобно за низким столом, и сказал:

— Я слушал вас, Николай Михайлович, и понимал, как рождаются литературные произведения. Ведь до того, как появилось в учительской это изречение, вы и не думали писать повесть о Саратовкине. Вы писали статью в журнал...

Николай Михайлович усмехнулся:

— Все-то ты знаешь!

— Не только я, а все! — Длинные руки сделали широкое движение, как бы охватывая весь класс и приглашая его в свидетели.

И тут неожиданно класс зашумел. Ученики заговорили друг с другом, посыпались реплики Семену, вопросы учителю.

— Тихо! — прикрикнул Семен, стукнул кулаком по столу, да не рассчитал удара, зашиб руку.

И класс отозвался дружным смехом.

— Я не кончил. Я только начал!

Его послушались.

— Все это может быть очень интересным, Николай Михайлович. И я думаю, каждый из нас,— он опять цепким движением рук будто объединил весь класс,— смыслом своей жизни сделает поиск материалов для вашей повести. Мы поднимем архивы! — все более и более увлекаясь и захватывая товарищей, говорил Семен.— Мы перевернем город вверх ногами! — воскликнул он, уже стоя.

— Ну, этого не надо делать! Пусть город стоит, как стоял! — засмеялся учитель.

— И ведь это как раз по вашей части, Николай Михайлович. Это же история!

«А он опять все знает. Все понял»,— подумал Николай Михайлович и не сдержался, быстро подошел к Семену, обнял его и дружески похлопал по спине. При этом не без неудовольствия отметил, что Семен выше его на полголовы.

Семен покосился на класс: как воспримут товарищи эту сентиментальность учителя — и, увидев, что все в порядке, улыбнулся Николаю Михайловичу и сказал:

— Мы назовем себя «разведчиками старины» или еще как-то более романтично...

Дальше говорить было невозможно. Все повскакали с мест. Все кричали.

Проходящая по коридору молоденькая учительница английского языка открыла дверь класса и, увидев Николая Михайловича, сложила накрашенные губы в гримасу, которая как бы говорила: «Кошмар! И это в присутствии учителя!»

4

У Семена Неверова слова никогда не расходились с делом. Он был уже достаточно серьезным человеком, несмотря на свои пятнадцать лет от роду. После того как Семен призвал товарищей сделать смыслом жизни поиск материалов для повести о Саратовкине, он принял самое деятельное участие в организации исторического кружка «Разведчики».

Семен Неверов определил для себя будущность историка и, пожалуй, не возражал бы повторить путь Николая Михайловича Грозного — стать учителем и писать. Но для того и другого нужен был особый дар, а его Семен в себе не обнаруживал. И вот, начав поиск исторических фактов, связанных с жизнью Саратовкина, копаясь в пожелтевших архивных бумагах (Николай Михайлович добился этого права для своего кружка), он почувствовал вдруг такое увлечение, что понял: вот оно, его будущее.

В школе ему хотелось заниматься только историей. Ну, еще к литературе он относился благосклонно! Но, увы, надо было, кроме того, изучать точные науки. И Семен Неверов, человек сознательный, понимал, что постичь эти науки необходимо, иначе историка из него не получится. И он постигал, правда без любви и увлечения.

Стояла поздняя осень. Мимо оплетенных железными решетками окон подвального этажа, где размещался архив, то и дело мелькали по асфальту, покрытому тающим снегом, ноги прохожих. Глядя на них, Семен мгновенно представлял себе их обладателей. Вот тяжело прошлепали женские ноги в резиновых ботах, впившихся в толстые икры. Женщина рисовалась Семену пожилой, рыхлой, неопрятной и меланхоличной. Вот промелькнули легкие ботинки, прикрытые потрепанными манжетами брюк. Это, наверное, длинноволосый студент с бородой и баками, в куртке, с таким же старым, как брюки, портфелем, набитым конспектами, книгами и, может быть, собственными стихами. Он ко всему настроен скептически, думает, что первым разберется во всех противоречиях жизни и укажет человечеству истинный путь. Осторожно обходя лужи, почти протанцевали изящные девичьи ноги в белых сапожках. Семен приблизил лицо к решетке окна: мелькнули круглые колени и подол светлого плаща. «Это секретарша какого-нибудь ответственного работника. Пока начальника нет, побежала в парикмахерскую ногти мазать или волосы начесывать»,— подумал Семен.

Еще не кончился день, но в большой, мрачной комнате архива горел неоновый свет, делавший лица голубовато-землистыми. В этой комнате вместо стен от пола до самого потолка громоздились шкафы. А у окон тянулись длинные, заваленные бумагами и папками столы.

«Разведчики» после школы немного повозились с документами, ничего интересного не обнаружили, поостыли и

отправились по своим делам. А Семен остался. Он сидел на высоком табурете, сложив на его перекладине длинные ноги, сгорбив спину и рассеянно листая папку с пожелтевшими бумагами.

Потрепанная газетная вырезка задержала его внимание:

16 августа, 1898 г. Свершилось... Сегодня свисток паровоза впервые огласил наши окрестные горы, степи и леса, еще почти не тронутые культурой... Роковой момент для Сибири настал. Старая Сибирь осталась позади, впереди перед нами встает что-то новое. Сознание важности переживаемого момента проникло во все слои общества, и почти перед каждым встает вопрос: «Что-то будет?»

Семен перечитал текст дважды. Попытался представить то, что пережили люди его города, когда увидели первый паровоз. «А теперь вот ракеты уносят людей в космос,— думал Семен,— и кажется, что это в порядке вещей. Непостижимо!»

Семен не шевелясь сидел некоторое время над папкой, потом переложил несколько бумаг. Перед ним лежала фотография с подписью: «Город N-ск. Начало XX в.». Деревянный понтонный мост через широкую реку, а за ним низкие деревянные домишки, кое-где двухэтажные. В середине возвышается пятиглавый собор. Собор и теперь стоит так, точно не ушли столетия. Только сегодня, окруженный многоэтажными корпусами, не кажется он таким уж большим. Реку опоясал металлический красавец мост с гордо выгнутой легкой спиной.

Вот еще одна фотография: улица, мощенная тяжелым, круглым булыжником. А на углу удивительно знакомый двухэтажный дом — кирпичный, совершенно не похожий по стилю на другие дома их города, с узкими окнами, высоко поднятыми над тротуаром, с остроконечной крышей. Да это же глазная поликлиника! Конечно, она. Еще в детстве Семена водила туда мать лечить косоглазие. Он помнил, как доктор залепил пластырем ему один глаз и было очень трудно спускаться с высокого каменного крылечка с резными железными перилами.

Он наклонился над фотографией, стараясь разобрать стертую надпись под ней.

— Стоп! — вдруг громко воскликнул он.

Две девушки, работницы архива, подняли головы от бу-

маг, посмотрели на мальчика, с улыбкой переглянулись и опять углубились в работу.

Под старой фотографией было написано: «Город N-ск. 1880 г. Жилой дом Саратовкина».

Так вот, значит, где жили Саратовкины! Фантазия уже рисовала Семену удивительные картины, одну ярче другой. Он слышал музыку, доносившуюся из открытых узких окон зала, когда ночами там на балах танцевала городская знать. Он видел экипажи, стоявшие у подъезда и отъезжавшие лишь на рассвете, строгого швейцара у дверей, а в окнах — мелькающие белые фартучки и наколки горничных.

Семен чувствовал себя счастливым. Эта фотография была первой ласточкой из прошлого.

Ноги уже порывались бежать к товарищам, к Николаю Михайловичу. Руки неудержимо тянулись засунуть фотографию в карман.

Но он знал, что выносить бумаги из архива строго воспрещалось. Оставалось одно: сложить документы в папку, запомнить ее и завтра явиться сюда всем вместе.

Так и начал было действовать Семен. Он аккуратно подправил растрепанные бумаги, со вздохом положил на место драгоценную фотографию. А потом все же не удержался. Будь что будет! Завтра он вернет ее на место, и никто не узнает. Ночь, всего лишь ночь она не полежит в этой папке.

Выйдя из архива, Семен решил сразу же отправиться к Николаю Михайловичу, но почему-то оказался совсем в другой стороне города, на улице, где на углу стояла глазная поликлиника. Уже вечерело. Но, вынув из кармана фотографию, он все же ее разглядел и убедился, что это действительно тот самый дом, построенный в готическом стиле. С теми же узкими окнами, дверью, овальной вверху, и высоким крыльцом, обведенным замысловатыми железными перилами.

Задыхаясь от радости, Семен вскочил в автобус, одной рукой бережно прижимая к себе фотографию, спрятанную в кармане, другой он сунул монету в пластмассовое отверстие кассы.

— Молодой человек,— несколько мгновений понаблюдав за Семеном, сказала сидящая у окна дама с четырехугольной коробкой на коленях. На коробке было написано: «Торт».— Вы опустили деньги, а билет не взяли.

— Какой билет? — удивился Семен. В эти минуты он

следовал за Михаилом Саратовкиным по узкому деревянному тротуару в две плахи, чуть приподнятому над дорогой, мощенной крупным булыжником. Миллионер шел вразвалочку, тяжело переставляя ноги в лакированных сапогах, в которые были заправлены полосатые плисовые шаровары.— Ах да, билет! — Семен вернулся к действительности и оторвал билет.— Спасибо! — пробормотал он даме с тортом и вновь погрузился в прошлый век. По деревянному тротуару он следовал уже за сыном Саратовкина. И представлялся ему Николай Михайлович Саратовкин студентом тех времен: в длинном, почему-то поношенном, пальто, непременно с поднятым воротником, в студенческой фуражке.

Семен, конечно, проехал нужную остановку и до дома Николая Михайловича добрался пешком.

В темном коридоре он миновал открытую дверь кухни, откуда вместе с запахами жареной рыбы, лука и сельдерея в коридор вползали женские голоса разнообразного тембра. Николая Михайловича дома не было.

Семен побежал в школу.

В вестибюле он столкнулся с нянечкой Дашей. Она была почти ровесница Семена, худенькая, невысокая, в синем платке, сложенном широкой лентой и завязанном под огромными косами. На маленьком, ничем не примечательном лице ее широко и решительно помещались точно такие же синие, как платок, глаза.

Голос нянечки был неожиданно низким и властным. Она привыкла к полному повиновению своих «архаровцев», как называла школьников. Она не любила лишних слов и сказала, легонько махнув тряпкой в сторону входной двери:

— Закрой с той стороны.

— Мне Николая Михайловича.

— Он ночует не в школе, а дома.

— До свиданья, Даша,— вздохнув, сказал Семен, поворачиваясь к двери.

— Приветик! — Даша опять помахала тряпкой.

Что оставалось делать?

Бежать к товарищам? Но Семен с утра не был дома. Мать, конечно, волновалась. Да и мысль о том, что уроков на завтра задано немало, изредка портила настроение.

Он с удовольствием открыл дверь своим ключом. Всего несколько дней прошло с тех пор, как из общей квартиры Неверовы переехали в отдельную, и Семена не покинуло еще чувство радости от новизны и удобств. Его Чарри — огром-

ная овчарка, которую месячным щенком он вытащил из реки во время ледохода, получив при этом двустороннее воспаление легких,— теперь имела спокойное место в прихожей. А у Семена и его младшего брата Олега была отдельная комната.

Семен своим появлением вызвал бурный восторг Чарри. Пес с радостным визгом прыгал, забрасывал на плечи мальчика могучие лапы и норовил лизнуть в лицо.

В дверях появился Олег. Очки придавали серьезность и даже строгость его круглому лицу.

— Ага! Опять где-то пробегал! — ехидно сказал он.— Вот влетит тебе от мамы! Ох и влетит!

— А ты, дурак, радуешься?— возмутился Семен.— Выручать надо братьев-товарищей. Не советский ты человек! Купчина ты прошлого века!

«Почему купчина?— искренне удивился Олег.— Да еще и прошлого века! Чушь какая-то. Даже обижаться не хочется»,— решил он и, выразительно повинтив указательным пальцем висок: дескать, у брата «не все дома», ушел в комнату, строгий и молчаливый.

— Валентин Александрович! — виновато сказал Семен, появляясь в кухне. Так иногда называл он мать.— Я опоздал.

— Да, действительно. И намного,— спокойно ответила она.

А чего ей стоил этот спокойный тон, этот ясный взгляд? Сын, вероятно, это поймет не скоро, когда сам станет отцом, да и поймет ли тогда? А пока, сравнивая свою мать с другими женщинами, он считал ее очень спокойной, рассудительной и справедливой. И только.

— Где же ты был? — будто бы между прочим, спросила она, зажигая газ.

Семен рассказал, утаив, однако, что фотография из архива лежала в кармане его пальто. «Никто, кроме «разведчиков», даже мама, не должен этого знать» — так решил он.

— А! — откликнулась мать на его рассказ.

И опять же когда-нибудь потом, вспоминая этот вечер, может быть, поймет Семен облегчение в этом возгласе матери. А сейчас Семену только пятнадцать лет. Отрочество. Самая сложная пора человеческой жизни. Он весь в себе, в своих переживаниях, в своем особом отношении к миру, который в эти годы открывается перед ним.

Вместо обеда Семен ужинал. Ел торопливо, лелея на-

дежду успеть выучить уроки. А мать — тоже торопливо — готовила обед на завтра, потому что нужно было постирать, а утром встать рано, приготовить завтрак и бежать на работу. Она работала кассиром в небольшом учреждении. Мальчики помогали ей по хозяйству. Но сегодня список покупок и деньги так и пролежали до вечера в кухне на полочке. Семен забыл обо всем. Так случалось часто. Но мать хорошо помнила годы своего отрочества и отлично понимала сына. Она не упрекнула его.

Молчание ее Семену было больнее выговора.

— Валентин Александрович! Ты бы поругала меня. Я же виноват,— просяще сказал он, наспех убирая за собой посуду.

— Ну, понимаешь, что виноват,— значит, все в порядке,— улыбнулась мать.

Нет, в самом деле его мать — самая лучшая мать на свете! Семен не мог не обнять ее, хотя в его возрасте это было не положено. Хорошо, что Олега нет, а то ведь истолковал бы по-своему: подлиза, мол.

Олег укладывался спать, срывая с себя одежду,— видимо, подражая какому-нибудь герою из фильма, а Семен еще только садился делать уроки. Доставая из портфеля тетради и учебники, он продолжал думать о матери: «Она не только умнее, но и красивее всех. Если бы не так наспех причесывала она свои густые, светлые волосы, а сидела бы подольше перед зеркалом, как Вовкина мама, если бы не сама, а в ателье, как Наташина мама, шила себе нарядные платья — какая бы красивая она была! А ей все некогда». Отца Семен помнил плохо, шесть лет прошло после его смерти.

Раздумья о матери сменились мыслями о Саратовкине. Захотелось вновь взглянуть на фотографию старого дома. Олег уже спал, и Семен, осторожно ступая на носки, вышел в прихожую и достал из кармана фотографию. Чарри тоже спал, сладко похрапывая, развалившись у вешалки. Из ванной доносились всплески воды: мать стирала белье.

Влюбленными глазами Семен снова разглядывал булыжную мостовую, дом с остроконечной крышей, с высоким крыльцом, на котором справа, около железных перил, был приделан какой-то большой предмет, напоминающий ящик.

— Спать, Сеня, спать! — заглянув в дверь, сказала мать.— Поздно, утром тебя не поднимешь.

— Я сейчас, мама,— сказал Семен.

«Будь что будет»,— снова подумал он, закладывая фотографию в дневник. Сложил в портфель книги, постелил постель, разделся и мгновенно сладко уснул.

Семену удивительно повезло. Учителя, точно сговорившись, не спрашивали его. А он сидел как на иголках. Во-первых, не так-то просто выглядеть учеником, выучившим урок. Для этого надо принять уверенную позу, но на всякий случай не встречаться глазами со взглядом учителя. А во-вторых, сегодня он чуть не опоздал в школу, в класс вбежал за несколько секунд до звонка и, естественно, не успел сообщить «разведчикам» о своем открытии. Но к концу первого урока метко брошенные записки оповестили о случившемся не только «разведчиков», но и всех остальных ребят.

На перемене фотографию, которую Семен не выпускал из рук, уже смотрел весь класс.

Николая Михайловича в школе в тот день не было. После уроков «разведчики» — а их было шестнадцать человек — отправились к учителю домой, но его не застали. Сунули в дверь записку.

Николай Михайлович! Я принес из архива фотографию дома Саратовкина, где тот жил в 1880 году. Это написано на фото. Теперь в этом доме глазная поликлиника. Мы помчались туда. Потом еще зайдем к Вам. Ждите обязательно, потому что фото нужно вернуть в архив.

Семен Неверов

Николай Михайлович вскоре пришел домой, прочел записку и, хотя были у него другие дела, немедленно направился в глазную поликлинику. Он понял, что фотографию Семен стащил из архива и его беспокоило нашествие «разведчиков» в поликлинику.

А для беспокойства основания были. Все шестнадцать с замиранием сердца вначале изучали здание поликлиники снаружи, сравнивая его с фотографией. Затем принялись разглядывать высокое крыльцо с широкими каменными ступенями, стертыми временем, и остатки чугунных перил с причудливым старинным орнаментом.

Тыча пальцем в фотографию, Семен сказал:

— И еще что-то было здесь. Что за предмет, непонятно. Вон даже след остался на камне.

— Привинчено было...— расковырял кто-то из ребят забитые пылью и мусором дырки.

Восьмиклассники молча миновали узкий тамбур и во-

шли в полукруглый вестибюль с куполообразным потолком. Их внимание привлекли высокие стрельчатые витражи из разноцветных стекол. Двери, ведущие во внутренние помещения поликлиники, были расположены под ними. Обычные двери, покрашенные белой краской. И вообще все остальное, кроме окон и потолка, было обыденно привычным. Белые скамьи у стен. Пол, покрытый светлым линолеумом, затоптанный ногами бесчисленных пациентов. Белая пристройка с окошком, в котором, словно фотография в рамке, виден был строгий профиль немолодой регистраторши.

Несколько человек стояли в очереди к окошку.

Стараясь не обращать на себя внимание, «разведчики» по одному вошли в вестибюль. Но их было шестнадцать, одного возраста, с одинаковым выражением на лицах, в походке, в движениях — выражением восторга, любопытства, желания остаться незамеченными. Их, конечно, заметили.

— Надо проникнуть в глубину здания. Вставайте в очередь к окну,— шепнул Семен соседу, и по цепочке мгновенно слова его были переданы всем.

Семен первым пристроился в очередь за старушкой, которая опасливо отодвинулась. За Семеном молча встали остальные.

Очередь подошла быстро.

— Семен Неверов. Пятнадцать лет. Улица Советская, семь, квартира четыре,— ответил Семен на вопросы регистраторши.

— Сорок седьмой кабинет,— сказала она, равнодушно, поверх очков, взглянув на мальчика.

Так же равнодушно записала она второго и третьего «разведчика».

Четвертой подошла Лаля Кедрина, девочка не по годам пухлая, с миловидным беленьким личиком и ясными бирюзовыми глазами. Она назвала фамилию, имя, принялась было за адрес, но регистраторша вдруг забеспокоилась, выглянула в окошко. Очередь ребят-одногодок заронила в ее душу подозрения. Но они стояли тихо, с трогательным для их возраста желанием попасть на прием к врачу.

Она записала Лалю Кедрину. Однако следующего пациента все же спросила:

— Что это? Из одной школы? Почему все сразу?

Следующим был низенький крепыш, прозванный Левитаном в честь знаменитого диктора.

— Никита Пронин,— таким неожиданно густым и красивым басом сказал он, что регистраторша вздрогнула и недоверчиво поглядела на мальчика.

— Видите ли, мы проводили опыты по химии,— продолжал Никита,— и вот у всех что-то случилось с глазами...

Как раз в это время в вестибюле глазной поликлиники появился Николай Михайлович.

Очередь рассыпалась. Регистраторша поняла, что пришел учитель, и с любопытством дожидалась, что будет дальше.

— Где Семен? — спросил Николай Михайлович.

— Он уже там. На приеме.— Никита кивнул на дверь, ведущую из вестибюля в коридор.

Николай Михайлович подошел к окошечку регистраторши:

— Извините. Произошло недоразумение,— сказал он.

Регистраторше было интересно узнать подробности, но по лицу учителя она поняла, что тот не намерен объясняться, и сердито сказала:

— Только время отрывают. Учеников своих к порядку приучать надо. Да родителей к директору...

Николай Михайлович снял плащ. Молча бросил его на плечо Никиты и исчез за дверью.

Он вернулся оттуда с тремя «разведчиками». Семен был уже в кабинете. Сидел напротив врача, и та исследовала его глазное дно.

Все вышли на улицу, спустились с крыльца, и ребята стали ждать нагоняя.

Но Николай Михайлович только вздохнул, засунул руки в карманы и сказал:

— Ну зачем было так спешить? Вот кончится прием. Договоримся с начальством и спокойно все осмотрим. Зачем же мешать людям работать? Ведь сюда больные идут, а вы игру затеяли. Я считал вас разумнее и взрослее.

— Но ведь так. Николай Михайлович, интереснее,— сказал Никита.

Николай Михайлович промолчал. Он все это понимал и отчитывал своих «разведчиков» только для приличия. И они это отлично чувствовали.

На крыльце появился сияющий Семен. Он уже забыл все неприятности, причиненные врачом, и шел к Николаю Михайловичу, держа в руках фотографию, широко, победоносно улыбался.

Он попытался и теперь не выпускать из рук фотографию, но Николай Михайлович завладел ею, долго, внимательно разглядывал. Как и его ученикам, дом, в котором он бывал не раз и привык к нему с детства, показался теперь особенным.

— Ну, вот что,— сказал он, возвращая Семену фотографию,— дом мы осмотрим сегодня вечером. А сейчас,— он обратился к Семену,— пойдешь в архив и вернешь фотографию. Да не тайком, а скажешь, что взял ее вчера. И еще скажешь, что за это я лишаю тебя права две недели работать в архиве. Понятно?

— Понятно,— мрачно сказал Семен. И он уныло поплелся, загребая длинными ногами.

5

Все разошлись по домам. А Никите Пронину идти было некуда. Со вчерашнего дня у него не было больше дома. В школе, с товарищами, когда рядом был Грозный, несчастье хоть и не забылось, но утихла на время какая-то почти физическая боль, стало немного легче. Он никому не сказал о том, что́ у него случилось. И вот теперь, когда ребята ушли, он остался один на один со своей бедой.

А ведь еще недавно он был так счастлив и не понимал, не ценил этого.

Никита был единственным сыном в семье. Отец — геолог — больше находился в разъездах. Мать работала секретарем начальника конторы «Главкоммунстроя» и тоже мало бывала дома.

— Днем не справляюсь. Приходится работать вечерами,— весело жаловалась она отцу, когда тот звонил по телефону из какого-нибудь районного центра, где находился в командировке.

Последние месяцы все чаще и чаще матери по вечерам не было дома, и Никита не раз ложился спать, так и не дождавшись ее.

— Тебя, мама, твой начальник явно эксплуатирует! — не раз говорил он.— Я скажу ему об этом.

И действительно сказал.

Начальник теперь стал появляться у Прониных: он «по пути» завозил мать домой и заходил попить чайку.

Никита с первого взгляда невзлюбил маминого начальника и в часы его пребывания обычно не выходил из своей комнаты.

А однажды вышел.

Начальник, седоголовый, с молодым приятным лицом, сидел в кресле и курил. Никита прежде всего заметил его длинные пальцы, на одном из которых поблескивало обручальное кольцо, и его длинные вытянутые и скрещенные ноги в светло-серых брюках и замшевых ботинках «на платформе».

Мальчик почему-то только в этот вечер увидел, как хороша и молода его мать, с гладко зачесанными на прямой пробор, наперекор всякой моде, черными волосами. На ней было узкое черное платье, на рукавах и у ворота отделанное белым рюшем. Она немного суетилась, накрывая на стол, постукивая высокими каблуками лаковых полуботинок. На матово-бледном лице сияли большие черные глаза. Сияли слишком оживленно.

— Это мой Никита,— сказала она.

— Рад познакомиться!

Начальник сделал какое-то движение, будто собираясь встать. Но не встал. Загасил папиросу в пепельнице, как бы освобождая руку для пожатия, но не протянул ее и лишь блеснул в улыбке белыми, ровными зубами.

Никита молча поклонился и сказал:

— А маму вы эксплуатируете. В нашей стране восьмичасовой рабочий день, а она по двенадцати часов... вкалывает.

Мама вспыхнула и от этого жаргонного словечка, и от бестактного вмешательства сына. А начальник искусственно рассмеялся:

— Молодец. Оберегаешь интересы мамы. Вот, Лидия Владимировна, придется вам сократить свое пребывание в конторе.— И затем обратился к Никите: — Откуда у тебя такой голос?

Странный вопрос. Никита и сам не знал, откуда! Видно было, что начальник совсем не умел разговаривать с младшим поколением.

Никита молча пожал плечами. Мама предложила ему чаю. Он отказался и с тяжелым сердцем ушел к себе в комнату. Бессознательно еще он почувствовал надвигающуюся грозу. И с этого дня в доме для него все стало не так.

Однажды вечером он увидел, как начальник подвез

свою секретаршу до дома. Она была в костюме с рукавами по локоть. Согнувшись и склонив голову, вытянув вперед ногу в лаковой туфле, она выходила из машины, и начальник, по-хозяйски приподняв рукав ее жакета, поцеловал руку выше локтя.

Отец в тот вечер был дома. Он ничего этого не видел. Он стоял у плиты и заливал яйцами поджаренную колбасу. Тоже седоволосый, как тот, загорелый и обветренный, стройный и высокий. «Он же в тысячу раз красивее и лучше!» — с отчаянием подумал Никита.

Он отказался от ужина, ссылаясь на нездоровье, и ничком свалился в постель.

Пришла обеспокоенная мама. Как всегда, она хотела коснуться губами лба Никиты — нет ли температуры, но он спрятал лицо в подушку. Тогда она попыталась потрогать его шею рукой, которую только что целовал тот, и Никита, вскочив, грубо отбросил ее руку.

— Ты что, сынок? — удивленно спросила мать.

— Ты знаешь что! Уходи!

И она поняла, ушла из комнаты. Дверь была открыта, отец все видел и слышал. В доме в тот вечер стояла мертвая тишина. Никто не проронил ни одного слова.

А дальше события развернулись с неожиданной быстротой. Отъезд отца якобы в командировку. Потом бессвязная попытка матери оправдаться — с отцом они не сошлись характерами и она выходит замуж за своего начальника.

И вот вчера этот человек появился у них с двумя чемоданами.

Никита переночевал эту ночь дома. «Последний раз» — так решил мальчик. Не мог же он, Никита, терпеть этого «типа» в доме, где родился, вырос и был всегда рядом с отцом. Он возненавидел мать, не мог глядеть на нее. Его терзало и то, что отец молчит. Почему он не оставил письма, не взял сына с собой, если уехал насовсем? Что же он, забыл, что у него есть сын? Значит, вот она какая жизнь: жестокость, несправедливость. Значит, нет в ней места ни любви, ни долгу, ни чести!

На соседней улице жила бабушка, мать отца. Но она старенькая и больная. Как принести ей такое известие! Он не решался пойти к ней.

Промаявшись ночь, не выучив уроки, голодный и растерянный, Никита пришел в школу задолго до звонка. Школа была еще закрыта. Никита постоял у крыльца и направил-

ся к дому Николая Михайловича. Кому же, как не ему, можно было поведать о своем несчастье. От кого же, как не от него, услышать ответ на страшное недоумение, которое истерзало Никиту за эти дни, и получить совет, как жить дальше.

Но по дороге повстречался ему Семен с фотографией, найденной в музее, отвлек Никиту от горьких мыслей. Потом уроки. Затем беготня к Грозному, в глазную поликлинику...

Ребята разошлись, а Никита пошел следом за учителем, видел, как тот сворачивал в переулки, переходил дороги. Никита ускорял шаги и снова в нерешительности отставал.

Учитель вошел во двор, поднялся на крыльцо и скрылся за дверью.

Никита ходил взад-вперед мимо дома. Слезы то и дело выступали на глазах. Ему было жаль себя — брошенного родителями, как ненужного котенка, голодного, бездомного. Он не решался пойти к Грозному.

А Николай Михайлович в эти минуты вынул из портфеля письмо, адресованное ему на школу, и с волнением читал его:

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!

Вам пишет отец Вашего ученика Никиты Пронина. К сожалению, я всегда был нерадивым отцом и ни разу не заглядывал в школу (там часто бывала мать Никиты), поэтому с Вами я незнаком. Но, по рассказам сына и его одноклассников, я знаю Вас как талантливого педагога и человека большой души. Вот почему в тяжелый час жизни я пишу именно Вам, рассчитывая на Вашу помощь.

Никита думает, что я уехал в командировку (если мать еще не сообщила ему правды), но я уехал из дому совсем, потому что моя жена мне изменила. Никита все знает. Прошу Вас, поддержите сына в трудный момент. Вы же знаете, что несчастье свое он будет переносить в одиночестве. Это может оказаться для него невыносимым. Думаю, что оставаться дома ему будет слишком тяжко, уговорите, пожалуйста, его пожить пока, до моего приезда за ним (я уверен, что он пожелает остаться со мной), у бабушки. Я ей все рассказал.

Заранее благодарю Вас. Простите, что к Вашим вечным хлопотам я прибавил еще одну заботу. Прошу Вас передать

сыну письмо. Оно не запечатано намеренно, чтобы Вы его прочли. Другого адреса для письма сыну у меня нет.

С. Пронин.

Ниже был написан обратный адрес.

В конверте лежал еще лист бумаги, сложенный вчетверо.

Грозный не стал читать этого письма.

«Да, мальчику трудно. Ой как трудно,— думал он,— надо бы немедленно его разыскать». Он взглянул на часы. «В школе ему делать уже нечего. Идти к нему домой нельзя. Лучше всего послать сейчас же за ним кого-то из его одноклассников».

Грозный присел к столу, достал записную книжку, нашел телефон Кедриных.

— Будьте добры Лалю,— сказал он после того, как низкий женский голос ответил: «Алло, вас слушают».

— А кто просит ее? — поинтересовалась, видимо, мать Лали.

— Николай Михайлович, ее учитель.

— А! Здравствуйте, Николай Михайлович!— Голос стал неофициально приветливым.— Одну минуточку, Лаля подойдет.

— Я слушаю вас, Николай Михайлович!

— Лаля! Мне нужен срочно Никита Пронин. Нет, звонить ему не надо. Ты не можешь дойти до него и послать его ко мне? Не знаешь адреса? А телефона кого-нибудь из его близких товарищей у тебя нет?.. Кто? Володя Кучеренко?.. Так он же живет напротив меня. Как это я забыл!.. Спасибо, Лаля. Я сам схожу. До свиданья. Извини, что побеспокоил.

Николай Михайлович поспешно натянул плащ, быстро спустился с крыльца. И каково же было его удивление, когда возле калитки он увидел Никиту Пронина.

— Ну вот, а я за тобой! — радостно сказал Грозный.— Пошли, брат, ко мне.

Никита ничему не удивился. И молча пошел за учителем.

— Не обедал? — снимая плащ, спросил Грозный.

— Нет.

— Худо. Я обедал в столовой. Будем пить чай — с хлебом, сыром, маслом и колбасой. Тоже неплохо, верно?

И он включил электрический чайник.

— Садись.

Никита сел на табурет, сделанный школьниками. Николай Михайлович не садился. Он ходил, что означало, как давно заметили ученики, большое волнение.

— Ну, вот что, дружок. Я все знаю.

«Иначе не могло быть!» — подумал Никита, и словно гора свалилась у него с плеч. Не надо было рассказывать про мать, про ее начальника, про то, как по-хозяйски тот ввалился в их дом со своими чемоданами.

— А вот тебе письмо от папы.

Нет, он был просто добрым волшебником из сказки — этот учитель.

— От папы? — счастливо задохнулся Никита и, схватив письмо, встал и жадно принялся читать.

Отец утешал сына, как мог, и писал, что через месяц вернется. А пока, если сын захочет, может жить у бабушки, которой отец уже сообщил о случившемся.

Ты уже большой, решишь сам, с кем остаться — со мной или с матерью. Деньги на свои личные расходы возьмешь у бабушки...

Никита закончил читать письмо, и стало ему легче жить на свете.

Он не один. У него отец, который любит его. Но почему же, почему теперь, когда стало легче, он не может, как ни силится, скрыть предательских слез! Он протянул письмо учителю и закрыл руками лицо.

— Ничего, Никита, поплачь. Это горе и взрослому не по плечу.— Он обнял мальчика и, помолчав, добавил: — Советую так: до приезда папы пожить у бабушки. Подумать обо всем. Сгоряча никогда не принимай серьезных жизненных решений и обязательно держи меня в курсе своих дел. Обязательно. Договорились?

Никита смущенно ладонями вытер лицо, кивнул, соглашаясь.

— А теперь будем пить чай.

Николай Михайлович поставил на стол красивый японский сервиз: чашки из тончайшего фарфора, сахарницу, изящные тарелки.

Он подал Никите колбасу, сыр, завернутые в бумагу, и нож.

— Режь и клади на тарелки.

— Может, я не так нарежу? — засомневался Никита при виде такой красоты на столе.

— Режь как хочешь. Все равно съедим,— засмеялся Николай Михайлович.

И Никите стало так хорошо с учителем, беспокойно, конечно, потому что беда, пришедшая к нему, была не мимолетной детской бедой, а несчастьем, которое останется с ним на всю жизнь. Как ни был юн и оптимистичен Никита, он понимал это.

Он с наслаждением ел показавшиеся ему необычайно вкусными закуски, пил совершенно необыкновенный — крепкий и ароматный — чай. И боль понемногу отступала. Ему хотелось задать учителю тот самый главный вопрос, который мучил его последнее время: о жестокости взрослых, о пошлости человеческих отношений, о невечности самого святого на земле. Зачем же тогда жить?

Но «обладатель сверхпедагогического провидения», как называли Грозного в классе, сам знал, что именно об этом теперь надо говорить с Никитой. Это было трудно. Николаю Михайловичу нередко самому тяжело жилось на свете, когда он сталкивался с пошлостью и жестокостью, хотелось даже в такие мгновения не верить тому, чему невозможно было не поверить. Ему — взрослому! Что же творилось теперь в душе подростка?! Надо было как-то укрепить в ней веру в правду, добро, создать какую-то увлекательную мечту.

— А знаешь, Никита, слушаю я твой голос и часто думаю, что твои одноклассники не зря величают тебя Левитаном. Давай-ка поразмыслим мы с тобой, не следует ли тебе в будущем и в самом деле стать диктором?

Никита изумился. Изумился и тому, что об этом вдруг заговорил учитель, и тому, что эта мысль никогда не приходила ему самому в голову.

— Ты и стихи и прозу читаешь отлично,— продолжал учитель,— следовательно, и артистический дар у тебя есть. Давай-ка поставим это под номером первым в жизненный план. А? Как ты смотришь?

— Не возьмут! Возьмут другого — безголосого, но по блату! — уныло сказал Никита и махнул рукой.— А! Ничему я не верю теперь!

— Ну, брат, уж тут ты явно перегибаешь палку. Талант всегда пробивает себе дорогу, пробивает через все препятствия. Ну вот, первый попавшийся пример: в Нижнем Новгороде Шаляпин и Горький попытались наняться в театр хористами. Горького взяли, а Шаляпину отказали за негод-

ностью голосовых данных. Ну, как тебе известно, в итоге талант победил! Они же — эти два великих друга — пытались поступить сотрудниками в редакцию газеты. Шаляпина взяли, а Горькому отказали.

Теперь учитель перешел непосредственно к трагедии Никиты.

Отец возвратится. Никита будет жить с ним. А мама — мама может очень быстро разочароваться в своем избраннике, так часто бывает в жизни. И она не забыла сына, наверняка по-прежнему нежно и горячо любит его, но у нее тоже трудное положение: брошенный муж, сын, который ее не прощает, и влечение к другому человеку... А может быть, с отцом они всегда были разными, далекими людьми и жили до поры до времени вместе только ради него — Никиты. В жизни нередко случается, что и хорошие люди сходятся по ошибке, а потом вот жизнь не склеивается. Все это так сложно, так непросто разобраться, где правда...

Но утешительные слова учителя не доходили до сердца мальчика потому, что Николай Михайлович сам не мог в них поверить до конца. Он глубоко был убежден, что такая рана не зарубцуется у подростка, не останется бесследной эта травма и в формировании его характера, и в его взглядах на мир. «Когда нет детей — играйте в любовь! — думал Грозный.— А когда есть дети — это недопустимо!» Он обвинял мать Никиты! Он обвинял ее нового мужа!

Вот почему, утешая Никиту, он чувствовал свое бессилие и возлагал надежды только на то, что время — великий исцелитель. Одно радовало Николая Михайловича — он понял, что заронил в душу мальчика мечту.

6

В доме Кедриных царила суета. Они ждали гостей. А званые вечера проводились у них с сибирским гостеприимством: стол ломился от кушаний и вин. Покупные закуски и сладости считались недопустимыми. Все готовили дома: заливные блюда, холодец, традиционные яички-мухоморы с шапочками из помидоров, салаты, пироги с рыбой, пельмени, торты и пирожные. И тут ведущая роль принадлежала Лале. Для своих пятнадцати лет она, на удивление всем, умела и любила готовить и красиво сервировать стол.

Мать, Дора Павловна, только помогала: закупала продукты, чистила и резала овощи, пропускала через мясорубку мясо, носила из кухни в столовую блюда с уложенными Лалей кушаньями.

Отец Лали, Филипп Афанасьевич, был известным художником-пейзажистом. А мать — домашней хозяйкой. Дора Павловна обожала старину и прекрасно реставрировала мебель. Она покупала никому не нужное старье и собственными руками делала из него великолепные вещи. С этой целью она выезжала в другие города и порой привозила контейнеры с рухлядью.

Их квартира блестела позолотой рам, зеркал, горок, бюро, украшенных инкрустацией. В спальне под парчовым пологом стояли широкие кровати, стену украшал старинный гобелен, изображающий Александра Невского в окружении воинов.

И лишь в комнате, где жила дочь, вся обстановка была подчеркнуто простой, современной. Она не разделяла увлечения матери, даже стеснялась его.

Гости появились вечером: старый знаменитый писатель, приехавший из Москвы, как он говорил, «последний раз» в родной город, и совсем молоденькая его жена, которую можно было принять за его внучку.

Дора Павловна — высокая полнеющая блондинка в ярко-желтом платье, с бриллиантами в ушах, на шее и на пальцах — встретила москвичей искренне радостными восклицаниями: она обожала принимать гостей.

— Филя! Филечка! Лаля! Встречайте!

Из гостиной торопливо вышел сияющий Филипп Афанасьевич, из кухни неторопливо появилась Лаля. И пока хозяин обнимал гостя и снимал пальто с его молодой жены, которая своими распущенными по плечам волосами и скромным коричневым платьем с белым воротничком напоминала десятиклассницу, Дора Павловна взглянула на дочь и мысленно ужаснулась: Лаля стояла непричесанная, в черных старых брюках и домашней белой кофте, полнившей ее. В чем готовила ужин, в том и вышла, только фартук сняла.

— Наша дочь Евлалия,— с гордостью сказал Филипп Афанасьевич, как всегда, не замечая, во что одета и как причесана Лаля.

Все прошли в гостиную, а Лаля вернулась на кухню. Она знала, что сейчас начнутся шумные восторги по поводу по-

золоты, инкрустаций, гобелена и ковров. Потом отец посадит гостей на шелковую оттоманку с золочеными амурами и будет ставить на мольберт одну за другой свои картины, изображающие поля, леса, горы, которые он словно бы просто сфотографировал, не тратя на это ни души, ни нервов. Доподлинное копирование предмета на холсте Лаля не считала искусством. А гости будут восторгаться работами отца, даже если думают так же, как она. Он же хозяин! Невежливо было бы критиковать его.

За столом разгорячившийся от коньяка старый писатель провозгласил тост за молодое поколение. Его жена приложилась к краю рюмки очаровательным ротиком. Лаля от души хлебнула и закашлялась, прикрываясь ладошкой. Дора Павловна испуганно покосилась на гостей. Лаля приметила ее взгляд, и ей вдруг захотелось причинить матери неприятность. Она приподнялась, потянулась к середине стола и, пальцами прихватив соленый груздь, не садясь, затолкала его в рот.

Отец, который никогда не замечал того, что не имело отношения к живописи, сказал, кивая на Лалю:

— Увлеклась историей родного города. В архивах разыскивает все, что касается миллионера Саратовкина...

— Саратовкина? Это прелюбопытнейшая фигура. Знавал я его сына,— сказал писатель.

— Николая Михайловича? — изумленно спросила Лаля и, перестав жевать, уставилась на гостя.

— Вот имени не помню. Он был учителем. Какой предмет преподавал. не помню. Но слухи по городу ходили о его педагогическом даре. Он и в советской школе работал. А отец его — Михаил Саратовкин — в историю родного города вошел как удивительный самодур. Саратовкин содержал приюты.

— А какой был Саратовкин-сын? Вы не помните его? — волнуясь, спросила Лаля.

— Помню. Очень хорошо помню. Только уже стариком. Седой. Высокий. Прямой очень. С тростью. Взгляд спокойный, мудрый. Ходили слухи, что он не родной сын Саратовкина. Так ли это — не знаю.

— Не родной сын?

Лале так хотелось сейчас же по телефону сообщить обо всем этом Николаю Михайловичу, Семену и лучшей своей подруге Наташке! Но это было невозможно. Телефон стоял

рядом, на позолоченном столике, до смешного нарушая стиль XVIII века.

Но в двенадцать часов ночи она все же позвонила Грозному.

Николай Михайлович правой рукой продолжал писать, а левой взял трубку.

— Ой, Николай Михайлович! — тихо сказала Лаля.— Ой!

— Ну что — ой да ой! — отозвался Николай Михайлович.— Да что ты шепчешь? Погромче!

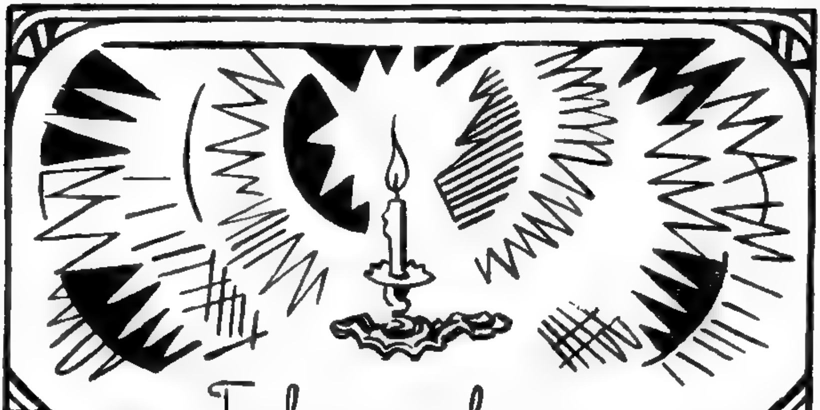
— Ой! Я так волнуюсь... Все спят, громче нельзя. Не могу сообразить, с чего начинать. Все о Саратовкине...

— Начинай с самого начала.

— Ну вот, он знал его лично...

— Кто? Кого? — в волнении бросая на стол карандаш и предчувствуя интересную новость, спросил Николай Михайлович.

Лаля наконец овладела собой и передала учителю рассказ московского гостя.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

ПОДКИДЫШ

Город N, имевший населения 60 000 душ, считался большим городом Сибири и был губернским. Раскинулся он по низкому берегу полноводной реки, а на другом берегу ее он взобрался на гору, разбросался на несколько верст деревянными домишками, словно разбежались они в разные стороны, да так и остановились, окружившись огородами, садами и палисадниками.

В центре города — белый каменный дом генерал-губернатора. Самый большой дом. А за углом, в переулке, еще один большой дом, правда, поменьше губернаторского, сложенный из красного кирпича. Крыша его остроконечная, узкие, длинные окна высоко подняты над деревянными в две плахи тротуарами.

Можно было бы и не поминать этого кирпичного дома в переулке, если бы речь не шла как раз о хозяине его — Михайле Ивановиче Саратовкине и о случае, происшедшем здесь, имеющем прямое отношение к этому повествованию.

Богатством Саратовкин славился на всю Сибирь. Был он владельцем золотых приисков, заводов, фабрик и мастерских, раскиданных по разным городам.

И самодурством своим Саратовкин славился так же широко, как и богатством.

На высоком, узком крыльце мрачного дома Саратовкина были чугунные перила, украшенные замысловатым орнаментом, и дверь, обитая железом. Тут же, на цепи, висел молоток. А с краю крыльца было прикреплено деревянное корытце.

Люди, жившие даже в других губерниях Сибири, знали: в этот дом подбрасывают незаконнорожденных детей, да и тех, которых по бедности или другим обстоятельствам родители воспитывать не в состоянии.

По правилам, выдуманным хозяином, ночью ребенка нужно было положить в корытце, ударить молотком в железную дверь и бежать. Дверь тотчас же открывалась, выскакивал служитель и гнался за тем, кто принес ребенка. Если догнать не удавалось, ребенка брали на воспитание в Саратовкинский сиротский дом, находящийся в этом же городе. А если погоня завершалась успехом, тот, кто подбрасывал младенца, отвечал по закону.

Сотни детей воспитывались в сиротском доме Михайла Ивановича Саратовкина. Девочек обучали швейному делу, мальчиков — слесарному, токарному. столярному. Это были дешевые рабочие руки. А Саратовкин, жестоко эксплуатировавший своих юных воспитанников, слыл человеком большого сердца.

Был конец осени. Дожди перемежались со снегом. В нудно-серой пелене пряталось солнце. В садах и палисадниках ветер раскачивал голые ветки черемух и диких яблонь, выл в трубах русских печей, нагоняя суеверный страх, хлопал ставнями окон нерадивых хозяев.

Михайло Иванович Саратовкин в шелковом халате и в домашних туфлях сумерничал у камина, сидя в удобном кресле. Возле кресла — круглый столик. На нем массивные счеты, бумага, остро отточенные карандаши. Но все не тронуто. Хозяин как зачарованный смотрел в огонь и, может быть, ни о чем не думал. Огонь с древних времен имеет для человека чарующую притягательную силу.

Скрипнула дверь, и в комнату вошла Анастасия Никитична, жена Саратовкина. Михайло Иванович повернул голову, вопросительно и неприветливо взглянул на маленькую женщину, робостью, остреньким носом и удлиненным затылком напоминающую птицу. Была она в зеленом платье, в белой кружевной накидке и в поскрипывающих, видно новых, ботинках.

— Михайло Иванович! — приближаясь к мужу, сказала она негромко.— Мальчишку подкинули...

Саратовкин фыркнул, удивленно поднял плечи, развел руками:

— Каждый день подбрасывают!

— Мальчишке годика четыре, смышленый, страсть,— продолжала Анастасия Никитична.— Не ночью, засветло, веревкой, как щенка, к перильцам прикрутили, видно, чтобы не убег. Народ собрался, стали молотком в дверь стучать. Фомка выбежал — глядит, такое дело...

Саратовкин слушал уже с интересом. Подобного еще не случалось.

— А ну, приведи мальчишку,— сказал он, вместе с креслом поворачиваясь спиной к камину.

Анастасия Никитична проворно вышла, прошумев накрахмаленными юбками.

Вскоре дверь открылась, и первым вошел мальчик в чистых холщовых штанишках, в красной, навыпуск, рубашонке. За ним появилась Анастасия Никитична. Она подтолкнула остановившегося было мальчугана вперед. Тот сделал несколько шагов и снова остановился, недоумевая, чего хочет от него эта женщина.

Мальчик держался смело. С любопытством оглядел комнату, и взгляд его больших, ласковых глаз остановился на Михайле Ивановиче.

Ребенок вдруг улыбнулся, хорошенькое личико его загорелось, стало еще краше, и с возгласом: «Дяденька!», протянув ручонки, побежал к креслу, обнял изумленного Саратовкина, прижался к нему светлой, кудрявой головенкой.

В одну минуту малыш растревожил затихшие с годами воспоминания об умершем сыне. Саратовкин положил руку на детскую голову и решил, как всегда, мгновенно и неожиданно:

— Ну что же, Настасья Никитична, быть ему нашим сыном.

— Да как же так?! — изумленно всплеснула руками Анастасия Никитична.— Не знаем — чей он, откудова?

Но прекословить мужу она не смела. Да и ребенок ей тоже пришелся по душе с первого взгляда.

— Как зовут-то тебя, ты знаешь? — спросил Саратовкин, когда мальчик оторвался от него.

— Знаю. Николашка.

— А где же мамка, тятька где?

— Там.— Не задумываясь, мальчик показал на окно.

— Кто же тебя, сердешный, к перильцам-то прикрутил? — спросила Анастасия Никитична.

Мальчик молчал.

— А фамилию свою знаешь? — спросил Михайло Иванович.

Мальчик не понял.

Так нежданно-негаданно изменилась судьба человека. Ми-

хайло Саратовкин мальчика усыновил. И однажды, под изрядным хмельком, сделал он приемного сына наследником своего состояния.

Возможно, одумался бы купец, изменил бы завещание, но времени на это ему не было отпущено. Ночью он возвращался из купеческого клуба на лихой тройке. Как всегда, правил сам. Лошади испугались чего-то, понесли, и на повороте Саратовкин вывалился из коляски, размозжив голову об угол дома.

А бедняк-подкидыш превратился в миллионера.

Мысленно представляя свое детство, Николай Михайлович всегда задерживался на одном воспоминании, пожалуй, самом ярком и значительном.

Стоял июль. С утра на безоблачное небо выходило солнце, и не грело оно, а жгло землю. Так безжалостно жгло, что старые люди не помнили подобного зноя. Выгорели посевы и травы. В городах пустовали базары и постоялые дворы. Мелкие торговцы закрывали свои лавчонки. Улицы обезлюдели. Горожане прятались по домам, а те, что побогаче, сидели в своих загородных владениях.

Собралась и Анастасия Никитична с сыном ехать в горы, на саратовкинские золотые прииски, расположенные в ста верстах от города.

После смерти мужа дела по управлению приисками, заводами и сиротскими домами — совершенно недоступные ее пониманию — она поручила брату, человеку честному, старательному, но тоже неспособному к ведению дел такого масштаба. И саратовкинские миллионы таяли, подобно снегу в теплый весенний день.

За пять лет, истекшие со дня смерти мужа, перешел к другому владельцу самый крупный винокуренный завод, в двух городах закрылись фабрики. Дела на золотых приисках шли из рук вон плохо.

«Скорей бы сын подрастал»,— с надеждой думала Анастасия Никитична.

А мальчику еще расти да расти. Не занимали его ни саратовкинские капиталы, ни дела, к которым пытался вызвать у ребенка интерес Митрофан Никитич. Больше всего увлекали Николушку книжки да сказки, которые рассказывала ему нянюшка Феклуша. Нянюшка Феклуша теперь была прачкой при господском доме, а Николушку воспитывала гувернантка-француженка.

В большом доме суета. У ворот — возок, накрытый брезентом, перетянутый веревками. У крыльца — карета, в которую

запряжена тройка. Застоявшийся породистый коренник, под нарядной дугой, нетерпеливо раздувал ноздри, косил горячим глазом. Гнедые пристяжные от укусов паутов неспокойно вздрагивали боками, тяжело раскачивали подвязанными хвостами.

Совсем было собрались ехать на прииск, да хозяйке сообщили, что занедужил Митрофан Никитич, надо проведать его. И отъезд отложили на завтра.

Анастасия Никитична спустилась с крыльца, одной рукой поддерживая волочившуюся по ступенькам оборчатую юбку, другой закинула за плечо ленту от широкой соломенной шляпы.

Влезла в карету, отерла пот с лица кружевным платочком и сказала кучеру:

— С богом!

Тройка рванулась было, но кучер, стоя, сдержал коней. Вожжи натянулись как струны. После несчастья с Михайлом Ивановичем Анастасия Никитична стала бояться быстрой езды.

Николушка был счастлив. Он знал, что, несмотря на приказ матери в ее отсутствие ни на минуту не покидать барича, Жанна Жановна, как обычно, поручит его заботам прачки, а сама исчезнет из дома.

Феклуша тоже радовалась возможности побыть с Николушкой. Они садились в тенек на скамейку, и Феклуша рассказывала ему новую сказку.

— Ну, слушай, касатик,— говорила она мягким, глуховатым голосом, ласково касаясь рукой волос и плеча мальчика. Феклуша позволяла себе эту ласку, когда они оставались вдвоем. Ведь она, бывшая нянюшка, еще недавно кормила его, учила первым житейским мудростям, горевала по ночам у его постельки во время частых болезней. Всю неистраченную любовь бездетной женщины она перенесла на него.

— Слушай, касатик, сказку про золотой камушек.

Няня Феклуша морщит белый открытый лоб, над которым блестят пышные волосы цвета спелой ржи, по-девичьи повязанные назад голубым полинялым платком, который всегда норовит сползти на плечи. Феклуша то и дело закидывает за голову полные, обнаженные до локтя руки и подтягивает концы платочка

Некоторое время она молча смотрит вдаль светло-карими глазами, и выражение ее лица меняется. Но вот брови высоко поднимаются, лицо загорается улыбкой. Она говорит, говорит быстро своим мягким глуховатым голосом, часто вскакивает, изображая героев сказки. Иногда запевает, щелкая пальцами и притопывая полными ногами, обутыми в смешные широкие чирки.

Николушка сидит и слушает открыв рот, не шелохнется, не чувствует даже, как нещадно палит солнце, не замечает, какая тишина стоит в обычно шумном дворе. Все живое попряталось от зноя.

Но вдруг где-то далеко тишину прорезают крики, шум, непонятный звон. Шум становится все ближе, все явственней. И вот уже четко слышится набат на пожарной каланче.

Феклуша прерывает сказку, прислушивается.

— Пожар где-то! О господи!

Она крестится, вздыхает, и снова лицо ее освещается улыбкой, и она продолжает сказку. Но ненадолго.

Надрывно гудит над городом набат. Дальний шум, точно морская волна накатывает на берега, все ближе, ближе. Феклуша замолкает. А Николушка весело показывает на небо.

— Дым!

Давно уже нет той звенящей тишины во дворе. Взволнованные люди лезут на заборы, на крышу, чтобы рассмотреть — где горит.

И вдруг легкий ветерок, с утра поднимающий пыль на дорогах, переходит в горячий порыв ветра. В воздух взлетают листья, обрывки бумаг и тряпок. К набату присоединяется вой ветра.

Феклуша с Николушкой выбегают за ворота. Улица полна людей. У домов встревоженные, шумные толпы. Ветер так силен, что дважды валит мальчика с ног. Тот хохочет. От необычной жуткой обстановки ему неспокойно и весело.

— Горит набережная! — взволнованно передают горожане друг другу.— Домишки, как порох, вспыхивают! Что ни минута — новый дом занимается!

— Николашка! Николашка! — кричит ему в ухо гимназист-одноклассник, рыжий Васятка Второв.— Бежим на пожар?!

Николушка оглядывается. У нянюшки Феклуши ветер сорвал с головы платок, и он голубеет высоко в ветвях тополя. Волосы Феклуши разлохмачены. Наклонившись, она старается прижать к коленям рвущийся подол.

Мальчишки ныряют в толпу и весело бегут по улице, мощенной крупным круглым булыжником. Всюду старые деревянные дома, иссушенные зноем. Как им не вспыхнуть!

Незабываемо страшным было зрелище этого пожара, за один день испепелившего треть деревянного города.

В переулке, по которому пробирались мальчики, внимание их привлекла странная схватка. Два гимназиста остановили в воротах лошадь, вывозящую домашний скарб. На узлах сидели

лавочник и его жена. Лавочник вожжами стегал лошадь, заставляя вырваться из цепких рук гимназистов, схвативших ее за узду.

К воротам подбежал мужчина в чесучовом порванном и запачканном костюме, мальчишки узнали в нем учителя гимназии Василия Мартыновича Завьялова.

Лавочник перестал стегать лошадь и закричал учителю:

— Гумагу давай! От начальства! В гумаге прописано будет — дам лошадь!

— Ты пойми, Пахом Егорыч,— убеждал его учитель,— коли мы друг другу помогать не будем — весь город сгорит. Твой-то дом тоже сгорит, пойми это! Снимай пожитки, ставь вместо них бочки.

Видимо, фраза учителя: «Твой-то дом тоже сгорит» — образумила лавочника. Всего ведь не увезешь!

— А бумаги у меня нет, — продолжал учитель, — город в огне, все растерялись, какие тут бумаги! Сам своих гимназистов сговорил...

— Ладно уж,— поразмыслив, согласился лавочник.— Надежда, слазь!

Женщина покорно слезла с телеги. А лавочник, гимназисты и учитель молча начали таскать обратно в дом узлы, корзины, баулы.

Огонь бесновался. Подхлестнутый ветром, он совершал свое страшное, уничтожающее шествие по городу, иссушенному зноем. Он шагал с крыши на крышу, перекидывался со стены на стену, оставляя после себя черные, обугленные останки, пепел, отчаяние.

На центральной улице плавился огромный колокол, упавший с горящей деревянной церкви в самое пекло пожара.

Мальчишки пробрались к набережной. Но дальше двигаться было невозможно. Здесь улицы еле вмещали красные пожарные телеги с большими бочками, телеги горожан с ушатами и прокопченными кадками, вытащенными из домашних бань. Мужчины, женщины, старики, дети таскали ведрами воду из колодцев.

А если бы подняться в темное от пожара небо, можно было бы увидеть, как в это время по тракту уходили из города кареты, коляски, повозки...

— Николашка, смотри, окна бьют! — весело кричал Второв, показывая на дом, к которому подбиралось пламя.

Хозяева дома выкидывали в выбитые окна перины, подушки, одежду, мебель. Толпа смыкалась возле этого дома. Потом

дом охватывало пламя. Он горел. Сгорал и весь домашний скарб, выкинутый из окон. И толпа передвигалась к следующему дому.

Николушка поднимался на носки, чтобы лучше видеть. Но впереди была толпа. Позади — испуганная морда коня, впряженного в легкую таратайку с пустым ушатом.

— Васятка, смотри, кошка! — с ужасом крикнул Николушка, увидев огненный клубок, метнувшийся в толпу.

Испуганный конь рванулся, поднялся на дыбы и с громким ржанием опустил копыта на мальчика, подминая его под себя.

Окровавленного, бесчувственного Николушку принесли домой.

Сбежалась вся людская. Кто-то распорядился послать за лекарем.

Мальчик не видел иссиня-белого лица нянюшки Феклуши, обезумевших ее глаз, не слышал хриплого, отчаянного крика:

— Сыночек мой! Кровинушка моя!

Присутствующие опускали глаза, старались не глядеть на стоявшую тут же барыню.

Поправился Николушка скоро. А нянюшки Феклуши в барском доме с тех пор не стало.

— Где нянюшка Феклуша? — спросил Николушка у стряпухи, появляясь в людской сразу же, как только лекарь позволил ему встать.

— Уехала твоя нянюшка.

— А когда приедет?

Рыхлая стряпуха, в белом платке, в белом фартуке, значительно поглядела на мальчика и ответила:

— Барыню спроси. Она лучше знает.

— Маманя, когда приедет нянюшка Феклуша? — спросил Николушка у матери.

— Она навсегда уехала.

— Навсегда? — Слезы покатились из глаз мальчика.— Я не хочу, чтобы навсегда. Мне надо нянюшку Феклушу!

Он схватил мать за оборку рукава и с отчаянием и злостью начал рвать ее.

Николушка чутьем угадывал нелюбовь матери к Феклуше, догадывался, что именно она отослала няню из дома.

Это было первое горе Николушки. Сколько слез пролил он в тишине своей спальни, перед сном вспоминая ласковую нянюшку, ее увлекательные сказки.

Еще через два года произошло одно знаменательное событие.

Николушка вернулся из гимназии. Матери не было дома. Он сел в столовой у камина, отогревая застывшие руки.

В комнату со связкой мелко наколотых дров вошел дворник Терентьич. Осторожно опустив дрова на пол, Терентьич снял облезшую меховую шапку, поздоровался с Николушкой, присел возле него на скамеечку, на которую Анастасия Никитична ставила ноги.

— Ну как, Николай Михайлович, забыл уж, поди, нянюшку Феклушу? — спросил старик, поглядывая на мальчика.

— Помню,— улыбнулся Николушка, и стало ему хорошо и чуть тоскливо.— А ты не знаешь, Терентьич, где она?

— То барыне одной ведомо. У нее спроси,— ответил Терентьич, поглядывая на мальчика быстрыми, молодыми глазами. Был старик не по возрасту энергичен, с сильным голосом. — А сказки ее помнишь?

— Помню.— И мальчик опять грустно улыбнулся.

— Желаешь, я расскажу?

— Расскажи, Терентьич,— обрадовался Николушка.

— Так вот слушай... В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый-пребогатый купец. Был у него большой дом. А на крыльце стояло корытце для подкидышей. Сиротский дом купец тот содержал...

— Как мой покойный батюшка,— сказал Николушка.

— Верно. Совсем как твой покойный батюшка. Но этого купца бог детушками не наградил. Вдвоем с женой век коротали. Вот как-то раз подкинули барину ребеночка. Мальчик большой был. Прикрутили его ремешком к перильцам крыльца. Купцу мальчонка приглянулся. Взял он его в сыновья. Отписал на него все свои капиталы. А конюху своему приказал город изъездить вдоль и поперек, найти родителей мальчика да изгнать их за тридевять земель, в тридесятое царство, а то и совсем загубить. Но конюх тот давно уже все знал. Отец-то мальчонки кузнец Василь помер, когда сын еще не родился. Мать с ребенком на руках никто на работу не брал. Вот тогда-то и пораскинул конюх умом, присоветовал ей сына купцу подбросить, обнадежил, что потом, дескать, пристроит ее в услужение в тот сиротский дом, где сынок жить будет. Хитрый этот конюх барину сказал, что изъездил город вдоль и поперек и никаких следов родителей мальчика не обнаружил. И присоветовал в няньки взять вдову кузнеца, молодую да работящую. Вот так и рос сын на руках родной матери, и никто про это ничего не знал. Мальчик няньку как мать почитал, она же в нем души не чаяла...

Слушал Николушка странную сказку Терентьича, и как-то беспокойно, не по себе ему становилось.

— Но шила в мешке не утаишь,— продолжал Терентьич.— Узнала барыня, что нянька подкидышу матерью доводится, и отправила ее за тридевять земель...

Они не заметили, как в дверях, хмурая, словно грозовая туча, появилась Анастасия Никитична.

— Ну, отоврался, старый хрыч?! — зашипела она, задыхаясь. — Расселся и врет ребенку! Чтобы ноги твоей больше в доме не было! За расчетом к управляющему зайдешь! Сёдни же!

— Уйду, барыня, теперича уже наверняка уйду. Раньше не мог — совесть не дозволяла, дожидался, когда сыночек твой подрастет. А теперича божье дело сделано.

Он надел шапку. В дверях обернулся, сказал:

— А ты, Николай Михайлыч, над сказкой-то поразмысли. Не маленький.

И ушел.

С того дня беспокойство овладело Николушкой.

Как-то утром, причесываясь перед зеркалом, он представил себе нянюшку Феклушу. Была она в белой кофте, в пестрой юбке. На босу ногу — маленькие смешные чирки. Сползающий голубой платок еле прикрывает пушистые светлые волосы. Стояла Феклуша, как обычно, сложив на животе большие рабочие руки, обернутые в закатанный передник. Приветливая, грустная улыбка на миловидном румяном лице. На лбу и над верхней губой выступили бисеринки пота.

Николушка улыбнулся и вдруг заметил в зеркале, что улыбается точно так же, как нянюшка Феклуша.

Ему вспомнилась фраза из сказки Терентьича: «Вот так и рос сын на руках у родной матери, и никто про это ничего не знал». Вспомнились и последние слова Терентьича: «А ты, Николай Михайлыч, над сказкой-то поразмысли».

Догадка мелькнула в голове мальчика: что, если сказка эта о нем, Николушке Саратовкине, и нянюшке Феклуше. Но сейчас же родилось сомнение: он-то родной сын Саратовкиных. Он-то не подкидыш! И опять подумал: а может быть, его подкинули в сиротский дом? И ему начинало казаться, что он смутно припоминает, как стоял привязанный к перилам крыльца, а возле дома собирались люди.

Николушка совсем извелся, похудел, по ночам просыпался, кричал. «Надо узнать. Надо непременно узнать все»,—думал он.

Спросить мать он боялся, да и был уверен, что она не скажет правды. Но кого же тогда спросить?

Он вспомнил, как Анастасия Никитична говорила, что стряпуха Агафья живет в услужении у них с молодых лет, и решил поговорить с ней.

Несколько дней подряд он приходил то в людскую, то на кухню в надежде застать Агафью одну. Но на кухне около нее всегда суетилась девчонка Парашка, чистила картошку, резала лук, мыла посуду, а в людской было слишком много народу.

Сметливая Агафья поняла, что Николушка хочет поговорить с ней. Да и о чем, догадывалась.

Как-то вечером из окна кухни увидела она на улице Николушку, тот собрался кататься с горы, шел через двор в меховой борчатке, подвязанной красным кушаком, в шапке-ушанке, тащил за веревку санки.

Набросила Агафья на голову шаль, вышла в сени, поманила мальчика.

— Гляжу, чего-то узнать от меня желаешь? — спросила она.

Тот растерялся от неожиданности, покраснел, помотал головой.

— Нет... Я ничего...

— То-то же,— улыбнулась Агафья.— А то ведь я все знаю.

Тогда он осмелился, чуть слышно спросил:

— Тетя Агаша, а было так, что в сиротский дом мальчика подбросили и к перильцам прикрутили?

— Было, Николай Михайлович, было. Грех скрывать,— поспешно ответила Агафья и размашисто перекрестилась...

Мальчик побледнел. Только одно еще нужно было ему спросить у Агафьи: «Это был я?» Но для этого сил у него не нашлось. Он повернулся и пошел, волоча за собой санки, перевернутые вверх полозьями. Пошел со двора на улицу, к реке, наверное и сам не понимая, куда он идет и зачем.

Теперь для Николушки стало главным — узнать, куда отправили нянюшку Феклушу. Нужно найти ее, увидеть. А что будет потом, Николушка не представлял себе.

Он вдруг возненавидел Анастасию Никитичну, к которой никогда не испытывал сыновней привязанности. Перестал называть ее матерью.

Однажды еще раз попытался спросить ее о нянюшке Феклуше.

Было это в христово воскресенье — первый день пасхи. Погода стояла праздничная. Солнце улыбалось. Небо голубело. Ветерок ласково гладил лица. Казалось, всем было хорошо в этот день.

Анастасия Никитична с сыном только что возвратилась из

церкви. Они пришли пешком. В белой накрахмаленной салфетке Николушка нес освященный в церкви кулич.

К хозяйке подошел новый дворник Никифор.

— Христос воскресе! — сказал он.

— Воистину воскресе! — ответила Анастасия Никитична, и они трижды поцеловались.

Похристосовалась барыня и с Агашей, а затем вместе с Николушкой поднялась на высокое крыльцо и, оглянувшись, увидела, как во двор вошла старуха нищенка и Агаша вынесла ей пирожок. Кланяясь и крестясь, старуха вышла за ворота.

— Агаша! — позвала стряпуху барыня.— Ты нищей подала пирог господский или людской?

— Господский, барыня.

— Поменяй! Возьми людской пирог, догони ее и поменяй. И впредь господских пирогов не раздавай.

— Слушаюсь, барыня.— Агаша поклонилась.

Но Николушка заметил злой блеск ее глаз да насмешливую улыбку. Ему стало стыдно за Анастасию Никитичну перед нищей, перед тетей Агашей, перед всей прислугой. Раздражение придало мальчику смелость.

— А где живет теперь нянюшка Феклуша? — неожиданно спросил он Анастасию Никитичну.

— Ты кого спрашиваешь? — Она резко повернулась к сыну.

— Я вас спрашиваю.

— А я тебе кто? Кто тебе я?

Николушка не ответил и настойчиво повторил:

— Где живет теперь нянюшка Феклуша?

— Не знаю, где. Не занимает меня, где бабы живут, которые у меня расчет получили. И тебе интересоваться не след. Ты барин.

В тот же день она пожаловалась брату:

— Кровь-то не подменишь: так и тянет его в людскую. Говорила я Михайлу Иванычу — не резон неизвестное дитя усыновлять. Да разве его можно было сговорить? О Фекле Николка страсть как печется. Мне сдается: все он знает. Услужили, поди, в людской — рассказали ребенку. Что делать-то, Митрофанушка, ума не приложу.

Митрофан Никитич спокойно слушал сестру, сидя в глубоком кресле, даже казалось, что и не слушал ее вовсе, а думал о чем-то своем. Изредка только отвлекался от своих мыслей, схватывая, о чем говорит сестра.

Он потянулся, зевнул, щелкнув челюстями, затрещал сцепленными пальцами рук, сказал:

— Ничего делать не надо. Бог сам разберется. Какой путь наметил Николушке, таким он и будет.

Сердито блеснув глазами, Анастасия Никитична ответила:

— Бог-то бог, да сам не будь плох. Свою голову на плечах иметь надоть. Ты на бога положился с пивоваренным заводом — завод-то и лопнул. На бога положился с пимокатной фабрикой — разорил ее.

— Но-но, не богохульствуй, Настасьюшка! Видно, так богу угодно было!

Митрофан Никитич встал, подошел к иконе божьей матери в богатой золоченой раме, с теплящейся лампадой.

— Спаси и сохрани, заступница, сестру Настасьюшку,— заговорил он, обращаясь к иконе,— ибо не ведает сама того, что говорят уста ее.

Он истово крестился, кланялся в пояс.

Анастасия Никитична тоже перекрестилась, прошептала молитву, а затем, махнув рукой, вышла из комнаты.

Николушка понимал, что один он не найдет нянюшку Феклушу. Надо кому-то рассказать обо всем, с кем-то посоветоваться.

В гимназии с ним за одной партой сидел Васятка Второв.

Вот и поведал Николушка товарищу свою грустную историю, предварительно заставив его положить руку на дядюшкино Евангелие и поклясться в том, что будет молчать как могила.

Клялся Васятка с азартом. И с таким же азартом придумывал выходы из создавшегося положения — один романтичнее другого, и все наивные, ребяческие, в жизни непригодные. А потом Васятка охладел к Николушкиной тайне, забыл ее. Но однажды вспомнил.

Из-за какого-то пустяка друзья поссорились и подрались при всем классе. И в тот момент, когда под восторженный вой мальчишек Николушка сел верхом на побежденного и тузил его кулаками, Васятка приподнялся и злобно крикнул:

— Подкидыш!

Руки у Николушки опустились. Он вскочил, побледнел. Первая мысль, которая пришла ему в голову в этот момент, была о том, что Васятка нарушил клятву, и сейчас разверзнется земля, и клятвонарушитель провалится в тартарары. Но земля не разверзлась.

Васятка, торжествуя, вскочил и продолжал кричать:

— Подкидыш! Его к перилам крыльца прикрутили! А Саратовкин его усыновил! Он сын няньки!

Второв увидел ставшее серым лицо Николушки, огромные глаза с застывшим в них страхом и изумлением, его бледные, прыгающие губы. И еще он увидел в дверях учителя и по тому особому наклону головы, хорошо знакомому всем ученикам, по трепету ноздрей мгновенно понял, что Василия Мартыновича охватил неудержимый гнев.

И все ребята заметили это. В классе стало тихо.

— По местам! — негромко сказал учитель.

Мальчики бросились к своим партам. Только Николушка недвижимо стоял посреди класса.

— Второв! — грозно сказал Василий Мартынович.

И когда тот остановился у доски, маленький, жалкий от совершенной подлости, учитель спросил:

— Откуда тебе известно, что твой товарищ Николай был подкинут Саратовкину? И даже известно, что его привязали к перилам крыльца?

— Он сам мне говорил! — запальчиво воскликнул Второв, желая оправдаться перед учителем и товарищами.

— Значит, твой друг доверил тебе тайну и ты ее выдал? Как назвать такой поступок? — обратился он к гимназистам.

Класс зашумел.

— Предательством! — равнодушно сказал толстый мальчик, сидящий у окна.

— Подлостью! — горячо крикнул кто-то с последней парты.

— Он... он клялся...— почти прошептал Николушка.

— Что? Повтори громче,— сказал Василий Мартынович.

— Он клялся на Евангелии, что будет молчать,— повторил Николушка.

В классе снова поднялся невообразимый шум.

— Тихо! — властно сказал учитель, сопроводив свое «тихо» уверенным жестом.— Итак, первое: мы определяем поступок Второва как подлость, предательство, клятвонарушение. Так?

— Так! — зашумели гимназисты.— Бойкот ему!.. Темную!

— Ну зачем темную? Кулаками человека честнее не сделаешь,— возразил учитель.

Он прошелся по классу, заложив за спину руки, постоял в раздумье у окна. Потом повернулся и сказал спокойно и уверенно:

— Второе. Я сообщаю вам, моим ученикам, что Николай Саратовкин — родной сын Михайла Ивановича Саратовкина. А подкидышем был первый сын, который умер восьми лет. Ясно? А теперь — тишина. Начнем урок.

Давно уже не испытывал Николушка такого блаженного покоя, охватившего его тут же, на уроке, в гимназии.

Значит, он ошибался. Ошибался Терентьич. А стряпуха Агаша, вероятно, имела в виду старшего приемного сына Саратовкиных. Николушка просто не дослушал ее тогда, убежал.

Он пришел домой из гимназии радостный, возбужденный. Старая дворняжка, бросившаяся навстречу, показалась ему красивее всех породистых собак, которых он встречал на своем веку. Он и не замечал раньше, какой уютной и солнечной была столовая в старом доме. А мать? За что он не любил ее? Она всегда была с ним справедливой и доброй.

Анастасия Никитична, по обыкновению ничего не делая, сидела у окна, смотрела на улицу, отмечая про себя, что мимо прошла соседка в новом платье, прогромыхала по каменной мостовой пустая телега, мягко прокатила коляска с красивой, нарядной барыней, похожей на царицу Екатерину II.

И вдруг наблюдения Анастасии Никитичны прервал радостный, приветливый голос сына:

— Здравствуйте, маманя!

От этого обращения у нее забилось сердце. Хоть и не родной сын, а привыкла к нему. Да и ее будущее в руках этого мальчика — наследника саратовкинских миллионов. Ей-то старый самодур ничего не оставил.

Ужинали втроем: Митрофан Никитич, мать и Николушка. Дядя рассказывал о делах. Анастасия Никитична слушала с напряжением, но мало что понимала. А мальчик думал о своем.

Этот день в его еще такой недлинной жизни был незабываемым. Он понял, какие вокруг разные люди. Друг оказался предателем, а учитель, которого он всегда побаивался, стал другом.

Образ учителя весь день стоял в глазах Николушки. Он слышал его спокойный, властный голос. Он видел его располагающее лицо, обрамленное светлыми бакенбардами и бородкой, его пристальные, немного колючие, светлые глаза.

— Ты не слушаешь меня, Николаша? — прервав свой рассказ, спросил Митрофан Никитич.

— Слушаю,— краснея, сказал Николушка.

— Слушай, слушай. Учись у дядюшки, — посоветовала Анастасия Никитична, шумно потягивая из блюдца густой, ароматный чай с молоком.— Подрастешь — сам за хозяйство возьмешься.

— Привыкать надобно,— вторил ей братец.

— Не возьмусь,— вдруг сказал Николушка.— Я учителем буду. Сильнее учителя никого на свете нет. Учитель все может!

И он представил себе Василия Мартыновича на пожаре, когда тот собрал учеников и они не разбежались, не поддались панике, охватившей горожан. Николушка помнил, как послушно слез с воза лавочник — этот драчун, пьянчуга и скандалист.

А сегодня... Если бы не учитель, кличка «Подкидыш» навсегда укрепилась бы за Саратовкиным. А он взял мальчика под свою защиту и двумя словами разубедил учеников и Васятку из героя превратил в предателя.

— Да ты что, парень, белены объелся?! — воскликнула Анастасия Никитична. Она проворно поставила расписное блюдце на белую скатерть и всплеснула руками.

— Кто же в учителя идет при таких капиталах?! — засмеялся Митрофан Никитич.— В учителя голодранцы идут, кому жрать нечего.

Однако, окончив гимназию, Николай Саратовкин, к ужасу домочадцев и к изумлению горожан, «пошел» все же в «учителя».

Он собирался было уехать учиться в Петербург, но поступил на учительские курсы, только что открывшиеся в родном городе.

7

Ее все звали Наташкой-Коврижкой. Даже учителя между собой. Но не только потому, что фамилия девочки была Ковригина. Весь облик Наташи уж очень соответствовал этому прозвищу. Круглолицая, с большими серыми глазами, удивленно поднятыми подковками бровей, с ямочками на аппетитных, румяных щеках, вся она была по-здоровому сильная и крепкая: и ноги, и плечи, и даже голос. Наташка-Коврижка, да и только!

С первого класса она дружила с Лалей Кедриной. Ребята считали эту дружбу настоящей, и многие даже завидовали ей.

Дружба действительно была настоящей. Прошлым летом Лаля предпочла поездку в пионерский лагерь с Наташкой отдыху с родителями на берегу Черного моря. А Наташка однажды перед всей школой приняла на себя вину подруги, за которую вызывали ее на педсовет, разбирали на комсомольском собрании и грозились исключить из школы.

Дело было в том, что художественный кружок школы много лет потратил на сбор подлинных работ местных художников. И вот уже два года центральное место на стене класса, где занимался кружок, было отдано картине «Славное море — священный Байкал» Филиппа Кедрина, подаренной им школе.

Это было метровое полотно, натянутое на подрамник. Тяжелую золоченую раму Дора Павловна сняла, перед тем как вручить картину школьникам. «И так перешло...» — сказала она недовольно.

На картине было изображено беспредельное «Славное море», в сероватых сумеречных тонах, спокойно сливающееся с горизонтом. Только справа, сквозь туман, просвечивали гряды гор, вершины которых покрывал снег.

Два года висела картина в школе. Но вот случилось так, что Филиппу Кедрину предложили поместить в областной музей несколько своих работ. И выбор его пал на «Славное море». Он сказал об этом дочери. Та возмутилась, заявила, что картина эта теперь собственность школы и брать ее оттуда недостойно художника. Отец было согласился, но мать настаивала заменить картину другой.

Тогда... Утром школьники обнаружили, что картина Кедрина испорчена. Кто-то полоснул холст ножом.

Видимо, нелегко было Лале совершить это. У нее начались сильные головные боли, поднялась температура. Ее уложили в постель. Наташка, конечно, все знала.

Пока Лаля болела, она приходила к ней каждый день и сообщила ей как-то между прочим, что испорченную картину сняли для реставрации. И всё.

Дора Павловна, судя по ее сухому обращению с дочерью, тоже все поняла. Отец же ни о чем не догадался, сходил в школу, увидел, что картину легко восстановить, и успокоился. А пока в музей отправил другую — мрачное изображение загородного «Чертова озера», с давних лет овеянного страшными легендами.

Для Николая Михайловича, отлично знавшего семьи девочек, характеры отношений в них, случай с картиной «Славное море — священный Байкал» был совершенно ясен. Думал он поговорить по-серьезному с Лалей, но поставил себя на ее место, перенесся в неповторимые пятнадцать лет и никакой угрозы для становления личности в ее поступке не усмотрел. Поэтому и разговаривать с ней не стал, а тем более не стал делиться своими мыслями с коллегами. Он знал, что, увы, в учительской далеко не все понимали детские души, некоторые даже не всегда интересовались ими.

Воспитанники Николая Михайловича нередко доверяли ему свои сокровенные тайны. Знал учитель, что Наталья посещает клуб, где второй год уже занимается стрельбой из пистолета. Знала об этом Лаля. Знали родители Наташки. Оба спортсмены — тренеры по художественной гимнастике, они ничего особенного не видели в увлечении дочери. А Николай Михайлович не раз задумывался, почему стреляет Наташка из пистолета, а не из винтовки, и чувствовал, что, открывая ему свою тайну, Наташка чего-то недоговаривала. И у Лали при разговоре о спортивном увлечении подруги лицо становилось деланно равнодушным, ну совсем потусторонним. Это тоже настораживало учителя.

Три раза в неделю Наташка прямо из школы мчалась в городской клуб. Обогнув одноэтажный новый дом, она, с гордостью предъявив в проходной пропуск, пересекала двор, с трудом удерживаясь, чтобы не бежать, входила в низкую дверь и долго шла длинным, полутемным коридором. В эти минуты в памяти ее возникали рыцари из прочитанных книг. Казалось даже, она слышала звуки скрещенных мечей.

Здесь путь ей преграждал сидящий на стуле человек в кожаной куртке и кожаных штанах. Он снова проверял ее пропуск и только потом с визгом и лязгом, неприятно нарушая мертвую тишину коридора, открывал железную дверь оружейного склада, доставал пистолет, проверял, разряжен ли он. Затем всегда с одинаковой фразой: «Проверьте, товарищ стрелок, при мне, разряжен ли пистолет» — подавал его Наташке. Та, положив пистолет в ящик, шла дальше по темному коридору в специальное помещение, где теперь еще раз тренер проверит, не заряжен ли пистолет, затем даст ей один патрон и будет следить за ее вытянутой рукой, уже теперь не дрожащей, как в прошлом году, за тем, как, прищуривая один глаз, взводит она курок и стреляет в мишень.

Редко-редко в коридоре навстречу ей попадался какой-нибудь уже отстрелявшийся мальчишка и, замедляя шаг, вглядывался в девчонку, гордо вышагивающую с ящиком в руке, а потом останавливался и провожал ее взглядом. А иной, идущий сзади, намеренно обгонял ее и с любопытством оборачивался. Из пистолета, со дня основания кружка, стреляли только мальчишки. Уже в клубе прошел слух, что какая-то девчонка «на обе лопатки положила всех мальчишек» и вот-вот будет мастером спорта.

Рассказала Наташка Грозному и о случае, происшедшем с ней во время зимних каникул в спортивном лагере «Снайпер», разместившемся на окраине небольшого села. Этот случай, кроме Лали, никто не знал.

Юные стрелки готовились к городским соревнованиям. Для сельской молодежи это было событием. Школьники издали наблюдали занятия стрелков, толпами собираясь на краю просторной, убеленной снегом, поляны, где посередине высилась снежная гора, в которую упирался блиндаж с навесом у входа.

Накануне в штаб лагеря была подброшена записка:

Ребята! Наши хулиганы решили отобрать у вас оружие. Будьте осторожны!

Над запиской посмеялись и сожгли ее в печке.

Наташка стреляла. Левая рука упиралась в бедро, правая — вытянутая — крепко и уверенно держала тяжелый пистолет. Выстрел. Снова выстрел. Третий... пятый... восьмой... На асфальт падают гильзы.

Наташка устала, замерзла рука, а в магазине еще два патрона. «Достреляю в следующий раз»,— решила она и, поглядывая, не заметил ли тренер недострелянных патронов, вынула магазин, положила в ящик рядом с пистолетом.

— Почисти. Потом сдашь,— сказал тренер, направляясь к другому стрелку.

Наташка вышла на поляну, по тропинке обогнула навес и по ступенькам спустилась в блиндаж.

От белизны снега поляны она вначале ничего не видела в охватившем ее полумраке и вдруг, приглядевшись, заметила впереди трех рослых парней.

— Давай оружие! — свистящим шепотом сказал один, и все трое медленно двинулись к девочке.

На одно мгновение Наташка растерялась, но сразу же ее охватила сумасшедшая отвага. Она поспешно выхватила из ящика пистолет, сунула в него магазин, отступила. Рванулась мысль: «Стрелять в ноги среднему и тому, что справа!» Она вытянула руку с пистолетом и с криком: «Стреляю!» — взвела курок.

Парни кинулись в стороны и в мгновение исчезли.

На крик Наташки прибежал бледный, взволнованный тренер, примчались стрелки с ящиками и пистолетами в руках.

Все мгновенно вспомнили сожженную записку. А толпы деревенских школьников на поляне, ничего не подозревая, сгорая от любопытства, издали наблюдали за тем, что творилось в блиндаже.

Итак, стрельбу из пистолета от Николая Михайловича Наташка не скрывала, а вот то, что она занималась английским и немецким языками у частного учителя, оказалось для него неожиданностью и в какой-то степени подсказало разгадку Наташкиного увлечения стрельбой.

Однажды Наташка остановила Грозного в коридоре. Была она очень взволнованна, с пунцовыми щеками, блестящими глазами, и губы ее подергивались не то от негодования, не то от усилия не расплакаться. Такой Наташку Николай Михайлович еще никогда не видел. Он понял: произошло что-то из ряда вон выходящее.

Очень может быть, что все рассказанное ученицей на иного учителя не произвело бы впечатления. Но Грозный почувствовал в этом самое страшное для школы, что только может быть: когда вместо воспитания в ее стенах калечат юные души.

И Грозный ринулся в бой за правду.

Спокойный, но с такими же пылающими глазами, как у Натальи, он после уроков подошел к учительнице английского языка и попросил ее задержаться.

Ей было всего 22 года, и она, окончив институт, лишь первый год работала в школе.

На вид она казалась еще совсем девчонкой, со взбитыми темно-рыжими волосами, с круглыми, неподвижными глазами, по которым невозможно было угадать ее чувств и мыслей. У нее были полные губы, влажные, потому что по привычке она то и дело облизывала их. Она была очень маленького роста, с малюсенькими ножками и ручками.

Держалась она всегда высокомерно и самоуверенно. И Николай Михайлович не раз пытался понять: таков ли ее характер, или она все это напускает на себя, чтобы спрятать свою неопытность и страх перед новым делом?

— Светлана Ивановна! Почему вы мне не сказали, что уже месяц у вас конфликт с Натальей Ковригиной?—спросил ее Николай Михайлович, когда они сели в учительской за стол друг против друга.— Почему вы ей не разрешили рассказать об этом мне и я узнал все от ее одноклассников? — Грозный решил не выдавать Наташку.— Мне уж потом пришлось заставить ее рассказать все.

— Я хотела ликвидировать эту историю без вмешательства классного руководителя,— запнувшись и краснея, как школьница, сказала она.

«Да, пожалуй, не высокомерна и не самоуверенна. Просто беспомощна, молода и неопытна»,— подумал Грозный и немного смягчился.

— Как рассказала вам Ковригина о том, что произошло? — вдруг живо спросила Светлана Ивановна.

— Извольте. В конце урока вы объявили, что задержите учеников на следующий — седьмой, дополнительный урок. Ковригина встала и с обычной своей прямотой и резкостью сказала, что дополнительные уроки вообще-то запрещены и учитель имеет право проводить их лишь с согласия самих учеников. Сказала она это, возможно, и грубо, что свойственно детям этого возраста. Кстати, насчет дополнительных

уроков, Светлана Ивановна, ученица-то права! Дальше Наталья сказала, что она не может остаться на дополнительный урок, так как с утра сговорилась с мамой встретиться в городе. Вы сказали: «Ах, какая важность — ждет мама! Маменькина дочка!» Вы перед классом высмеяли ее за то, что она в пятнадцать лет имела мужество в присутствии класса и учителя показать свое уважение к матери! И с тех пор почти месяц вы неизменно бросаете в классе реплики на ее счет, что, дескать, есть среди нас «маменькины дочки», «а что скажет мама».— Николай Михайлович встал и, заложив за спину руки, сказал, глядя в упор на учительницу: — Знаете ли вы, что одна из первых заповедей школы — воспитывать в учениках любовь и уважение к родителям? А вы сегодня переполнили чашу терпения ученицы. Вы при всем классе заявили, что напишете письмо в партийную организацию ее отца, чтобы там пригляделись к своему члену партии, получше бы узнали, что он за человек, если воспитал дочь, которая хуже уличного хулигана. Было это или нет?

— Нет, не было! — выпрямляясь и краснея, сказала учительница.— Ковригина все врет!

— Я знаю Ковригину с пятого класса. Она может быть невыдержанной, может быть грубоватой. Но она никогда не врала. За что и пользуется исключительным уважением класса, учителей школы. А вы сравнили ее с уличным хулиганом! Вы кричали на нее и заставили стоять весь урок. Поймите, это же экзекуция. Это почти то же, что век назад: стояние учеников коленями на горохе!

— Вы бы видели, с какой наглостью она смотрела на меня!

— А как же, чем же ей защищаться от несправедливости? Только взглядом. Сказать ей ничего нельзя. Прав будет все равно учитель. А кричать? Кричать — это значит расписываться в собственной беспомощности. Когда учитель кричит, класс на стороне того, на кого кричат, и всегда против учителя. Учитель роняет свой авторитет. Криком он растит бессовестных крикунов. Так не воспитывают, а калечат!

Он уже шагал из угла в угол и курил, хотя никогда не позволял себе курить в учительской, в присутствии некурящей женщины, да еще не спросив разрешения.

— С чего вы взяли? Я никогда не кричу! Значит, по-вашему, я вру? Подождите минутку. Я сейчас.

Она бросила на стол портфель, который до этого стоял на полу, и выскочила из учительской.

Николай Михайлович решил, что ей стало нехорошо, и упрекнул себя в несдержанности. Он потушил сигарету, сел и стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Вошла раскрасневшаяся Наташка, за ней такая же раскрасневшаяся Светлана Ивановна.

Светлана Ивановна села. Николай Михайлович тоже сидел. Наташка стояла.

— Ковригина, почему ты говоришь, что я кричу на тебя? Разве я когда-нибудь вообще кричала? Значит, я вру?

Что же могла сказать Наташка? Николай Михайлович отлично понимал — она не может сказать: «Да, врете вы, а не я!»

Это опять была та же экзекуция, что и стояние весь урок.

Щеки Натальи покраснели. Глаза сузились и глядели на учительницу с откровенным презрением. Только раз она перевела взгляд на Грозного, и в нем он уловил такую беспомощность, что у него сжалось сердце.

Он встал и постарался спокойно сказать:

— Иди, Наташа.

Она выбежала из учительской, и ему послышалось, что скрип двери заглушил несдержанное рыдание.

«Боже мой! До чего неумна!» — с болью подумал он о Светлане Ивановне.

— Вы подрываете авторитет учителя! — крикнула Светлана Ивановна, вскакивая и тоже готовая разрыдаться.

— Если действовать таким образом, то авторитета у вас никогда не будет. Я допускаю, что это от вашей неопытности. Опытный педагог такой конфликт разрешил бы в два часа. А у вас он тянется второй месяц. Вы истерзали ученицу, изнервничались сами. На уроке вы не замечаете Ковригину, не спрашиваете ее.

— Неправда, я проверила диктант и даже поставила ей пятерку.

— Еще бы! Она отлично знает английский! Она четвертый год, оказывается, берет уроки у доцента кафедры английского языка. Он обнаружил у нее удивительное дарование. Ведь она отлично знает еще и немецкий. Так что оставаться на дополнительный ей действительно не нужно было. Послушайте меня, Светлана Ивановна, учителя уже с

немалым опытом. Я вам только добра желаю. Когда у вас возникнет конфликт с учеником, никогда не пытайтесь уладить его в присутствии класса. Поговорите один на один, и вы всегда нащупаете верный подход. Никогда не кричите на учеников и будьте предельно справедливы к ним, иногда этой справедливостью уязвляя даже свое самолюбие. В этом возрасте все они ищут правду. Кидаются из одной крайности в другую. И любая неправда, любая несправедливость, восторжествовав, заставит их думать: «Раз так, значит, надо заискивать, надо приспосабливаться, надо ненавидеть учителя, но молчать, надо лгать». Несправедливостью учитель одним махом может зачеркнуть все лучшее в юной душе, и потом уже ее не выправишь. Помните это ежеминутно. А если не можете, лучше уйдите из школы.

Он помолчал и сказал, снова сдерживая себя, чтобы казаться спокойным:

— Советую вам сейчас позвать сюда Ковригину и сегодня же закончить этот конфликт. Уверяю вас, Наталья очень хороший человек.

— Но что же, я первая буду зазывать ее на беседу, унижаться перед девчонкой, когда она извиниться передо мной не желает?

«А в чем ей извиняться?!» — хотел было спросить Николай Михайлович, но не спросил, а только сказал:

— Зачем вам это формальное извинение? Вам важны не пустые слова, а перемена ее отношения к вам. Любой ценой, пусть трудной для вас. Вам нужно поговорить с ней спокойно, с глазу на глаз.

— Самой вызывать ее на разговор? Вы считаете это педагогичным?

— Да. Считаю педагогичным. И даже необходимым в данном случае. Лично я подошел бы к ученице первым. И были времена — подходил.

— Ну, знаете, не зря все учителя считают, что вы роняете авторитет педагога! — зло сказала Светлана Ивановна, схватила свой портфель и выбежала из учительской.

Николай Михайлович немного постоял, хотел закурить, но подумал, что где-то в коридоре или у вешалки, а может, на улице его наверняка ждет Наташка. Надо успокоить ее. Суметь в чем-то оправдать учительницу, найти и ее, Наташкину, вину. Словом, пойти чуть-чуть наперекор своим взглядам, чуть-чуть стать нечестным в отношении к себе и своим ученикам.

Он направился к двери, приоткрыл ее и увидел: в дальнем конце коридора стояла Наташка. К ней подошла Светлана Ивановна и что-то сказала. Наташка выпрямилась, упрямо прислонилась к стене. Светлана Ивановна еще сказала что-то и показала рукой на соседний класс. Они обе зашли туда — первая Светлана Ивановна, быстро и решительно, за ней Наташка, как бы колеблясь, с трудом отдирая ноги от пола.

Николай Михайлович закрыл дверь и облегченно вздохнул. «Молода! Неопытна! Но, кажется, дошло. Как же надо неотрывно следить за работой начинающего учителя! И что это за бесконечные дополнительные уроки?»

Не откладывая, он пошел потолковать с завучем.

В этот день Наташка, конечно, провожала Николая Михайловича до самого дома. И рассказывала ему:

— Она подошла ко мне и сказала: «Ты не хочешь поговорить со мной?» Я ответила: «По-моему, не о чем, все ясно». И, наверное, зло это у меня получилось. Она ведь оскорбила меня тем, что стоять перед классом заставила, и бестактностью в отношении моих родителей, и «уличной хулиганкой». «А может быть, все-таки побеседуем?» — говорит вдруг, да так мирно. И, знаете, обида, зло на нее у меня улеглись. Я, к сожалению, очень незлопамятна. Думаю, интересно, что скажет она. Да и вспомнила слова моего отца. Уезжая, он всегда напутствует меня одной фразой: «От дураков подальше!» Я знаю, что вы сейчас скажете: нельзя называть так взрослых, особенно учителей. Но только скажете. Невозможно же, чтобы вы думали, что она умная.

— Ты путаешь, Наталья, ум и неопытность педагога. Она просто очень молода, Светлана Ивановна не знает еще, как подойти к вам, ей самой страшно, вот она и кричит. Подожди, лет через пять из нее может получиться отличный учитель.

— Не получится, Николай Михайлович. Учителем, мне кажется, надо родиться. Это, как раньше говорили, «от бога». Талант нужен.

«В пятнадцать лет так рассуждать,— думал Николай Михайлович,— и с таким разумным, глубоким, вполне сложившимся человеком, отлично понимающим, что такое добро и зло, не найти общего языка! Это почти невероятно. Как же надо было оскорбить чувства ученицы, чтобы Наташка, такая волевая и все понимающая, не пожелала

взять себя в руки и пошла на конфликт, который, она знала, грозил ей только повседневными неприятностями».

— А я, откровенно говоря, уже хотела уходить в другую школу. Я не смогла бы ничего доказать. Учителя не захотели бы «ронять честь мундира». И, кроме вас, меня никто бы не защитил. И вам же потом на педсовете за это досталось бы! Только вот жаль было наш замечательный класс. И...— Наташка не сказала, но Николай Михайлович знал — жалко было расставаться с ним самим!

— Ничего, Наташа, все уладится. Я послежу за ходом событий,— уже стоя возле своего дома, говорил Николай Михайлович.— А кстати, ты никогда мне не говорила, кем ты мечтаешь стать в будущем. Скажи, если не секрет. Наверное, не зря языками занимаешься?

Наташка пунцово покраснела. И выдавила:

— Я еще не пришла к определенному решению.

— Но все же?

— Что-то в области международных отношений. Только об этом никому, ладно?

— Разумеется.

Дома Николай Михайлович развеселился окончательно. Милая, смешная Наташка, романтичная девчонка! Уж не в разведчицы ли метила она на случай войны? А может, шпионов собиралась ловить со своей стрельбой из пистолета и изучением иностранных языков?

Романтика эта через год-полтора остынет. А путь себе девочка выберет верный — в этом Николай Михайлович не сомневался.

Он открыл свежий номер газеты, и внимание его привлекла небольшая заметка о том, что некая женщина взглядом может передвигать мелкие предметы. Заинтересованные этим явлением, представители науки пока еще не могут объяснить этот феномен. Подобные способности обнаружены еще и у одного болгарского инженера.

«Любопытно! — думал Николай Михайлович.— Сколько же еще непознанного остается в науке. В средние века таких людей считали посредниками нечистой силы и сжигали на кострах. В наш век в большинстве случаев усмехаются и считают все это шарлатанством».

8

Назавтра утром он вошел в класс и, как всегда, испытал удивительное чувство удовлетворения и подъема, когда все тридцать учеников дружно встали, радостно приветствуя его. Он поздоровался и разрешил им сесть.

Подняла руку Наталья Ковригина и сказала заговорщицким тоном:

— Во вчерашней газете такое интересное сообщение о женщине, которая глазами двигает предметы. Останемся, а? После уроков? Поговорим?

— Останемся,— ответил Николай Михайлович.

Класс одобрительно загудел. Точно в тишину безветренного дня ворвался шмель.

После уроков, усаживаясь за стол, Николай Михайлович спросил, есть ли надобность читать статью. Оказалось, читали все. И не только читали. Каждый, конечно, сам попробовал двигать предметы взглядом. У Павла Михайлова, розовощекого, белобрысого подростка, таблетка от головной боли, над которой он производил опыты, один раз даже шевельнулась. Правда, все уверяли, что Павел, обхватив руками голову, чтобы товарищи не видели его лица, просто-напросто сильно подул на таблетку. Но Павел не сдавался. Он гордо и загадочно молчал, вперив в пол взгляд белесоголубых глаз, может, и правда чувствуя себя сверхчеловеком.

И все же всем захотелось послушать статью снова.

— Ерунда! — сказал Семен.— Чудеса умерли вместе с религией.

— Но ведь пишется в газете. Факт, как видишь, проверенный,— возразила Лаля.

— На свете еще так много загадочного, необъяснимого! — мечтательно сказала Наташка, обожавшая чудеса.

— Тебе, Коврижка, загадочное не к лицу! — засмеялся Никита Пронин.— Тут такую Аэлиту надо! — И он метнул взглядом, не очень-то равнодушным, на новенькую — хрупкую, белокурую девочку.—А ты должна быть совсем-совсем земная, определенная. Это твой стиль.

— Ну и что же! — не обиделась Наталья и передернула плечами.— Внешность такая, а мысли этакие. Тоже мне Аэлита... «Где ты, где ты, Сын Неба?..» — с завыванием

почти пропела она Пронину и, пластично извивая вытянутые руки, очень удачно показала, как с Марса на Землю идут сигналы.

Все засмеялись.

— А я так думаю, Николай Михайлович...— продолжала Наталья.— Вот такой вопрос, по поводу которого мы остались сегодня,— она положила обе руки на газету,— надо бы не в классе обсуждать. Сидеть бы на низеньких диванах, в полумраке, у камина... И чтобы свечи горели... Или скажем, поговорить о том, что у каждого есть своя особенная жизнь, свое отношение к людям, к вещам, ко всему... свой мир... Или слушать то, что вы написали.

— Ох, ох, ох! Уморила!..— снова огласил бархатным смехом класс Никита Пронин.— Наташка-Коврижка собирается открыть салон! В нем будут гадать на картах, заниматься... как это называется, Николай Михайлович, когда... ну, еще блюдцем духов вызывали?

— Спиритизмом называется,— подсказал Николай Михайлович.

— Вот-вот. Заниматься спиритизмом,— продолжал Никита,— и обсуждать загадочные явления.

Никита уже понемногу справлялся со своей трагедией в семье. Отец вернулся, и они жили вместе у бабушки. Мать он не видел с момента ухода из дома. Не хотел видеть.

Николай Михайлович мешковато сидел за своим учительским столиком, косолапо скрестив ноги и подперев ладонями щеки. Он не вступал в завязавшийся разговор, но с интересом слушал его, мысленно рассуждая о том, как права Наталья: задушевные беседы хорошо бы проводить в соответствующей обстановке. «Ну, не обязательно мягкие диваны, полумрак, свечи... Может быть, лучше шалаш на берегу быстротечной реки, черное небо с мерцающими звездами и костер, разрывающий мрак. Это могло бы остаться в памяти ребят на всю жизнь. И ее же, Натальина, мысль о том, что у каждого своя особенная жизнь, свое отношение ко всему, свой мир... Это так верно. Когда мы — учителя— подгоняем под общий стандарт этот «свой мир», «свое отношение ко всему», мы не воспитываем, мы портим. Это то же самое, что неумный или нечестный и бездарный врач, не любящий свое дело, выписывает всем пациентам одинаковые рецепты. А ведь все так индивидуально! Так индивидуально! Шаблоны недопустимы в медицине, недопустимы и в педагогике. Вот, например, Наталья. На первый взгляд

она выглядит ярче других в классе. Но это не значит, что остальные ординарны, неинтересны. Здесь все тридцать — личности. Только Наталья смелее, душа нараспашку. Ей будет легче жить. Она сумеет постоять и за себя и за других. Нет, она тысячу раз права. В классе, за партой, не каждого потянет на откровенность. А ребятам так нужны беседы по душам с другом, который много старше, мудрее, который сможет удержать, если что, добрым советом, натолкнуть на раздумье. В этом трудном переходном возрасте им, как никогда, необходима вдумчивая, доброжелательная и незаметная помощь взрослого: учителя или родителей. Но родители уделяют внимание детям в основном тогда, когда требуется физическая забота — в раннем возрасте, и, увы, меньше, когда начинается становление личности человека. Считают, что подросток сам разберется, что хорошо и что плохо. Но часто сам-то и не разбирается. Он может так ошибиться, что вся жизнь пойдет вкривь и вкось и уже ее не исправить. Помощи взрослых ребята не любят. Поймут, что их наставляют на истинный путь,— как ежи поднимут иголки. Нужно незаметно. Осторожно. Тактично».

Прислушиваясь к разговору учеников, Николай Михайлович думал с нежностью: «Милые вы мои! Что бы я делал без вас?! Чем бы жил?»

А в это время на защиту Натальи поднялся ее закадычный друг. Ляля Кедрина, по привычке многолетнего старосты класса, дискутировала не с места, как другие. Она вышла к доске. Стояла перед одноклассниками, поблескивая бирюзовыми глазами, залитая взволнованным румянцем, хорошенькая, пухлая, одетая на скорую руку, подчеркнуто небрежно: модные ботинки, привезенные родителями из-за рубежа, на полных ногах зашнурованы кое-как; видимо, прошлогоднее коричневое платье и черный фартук слишком уж обтягивают полную фигуру и к тому же давно не глажены, с отметинами школьных горячих завтраков. Кружевные воротничок и манжеты не первой свежести. Светлые волосы, очевидно еще с утра без затей заколотые пряжкой, и «хвост» растрепались, висят прядями, как попало. Ах, Ляля, Ляля, увидела бы тебя сейчас Дора Павловна!

«Надо будет поговорить с девочкой,— решил Николай Михайлович.— Ее протест против родительской погони за роскошью приводит к обычной неопрятности».

— Ребята! А вы слышали о Мессинге? — спрашивает Лаля товарищей.

Кто-то что-то читал в газете. Кто-то слышал приблизительно. Толком никто ничего не знает. Видимо, и Лаля не в курсе. Она умоляюще смотрит на Николая Михайловича.

— Когда-то Мессинг приезжал в наш город,— говорит Николай Михайлович.— Я оказался на его выступлении вместе с отцом. Отцу же было суждено стать участником сеанса. На сцене за столом сидело несколько человек. Им посылали записки, в которых зрители давали Мессингу разные задания. Кто-то из друзей моего отца предложил Мессингу найти в зале директора мебельной фабрики товарища Грозного, вывести его на сцену, открыть его портфель, достать оттуда авторучку и положить ее на стол президиума. Естественно, Мессинг не знал ни Грозного, ни того, что написано в записке. Ее подателя, инженера Суровцева, попросили подняться на сцену, где стоял Мессинг — худой, с лысиной в венчике пушистых волос. Глаза его горели, грудь часто вздымалась. Дыхание было шумным.

Мессинг протянул дрожащую худую руку Суровцеву и сказал лающим хриплым голосом: «Держите меня за руку и мысленно приказывайте то, что написали в записке». Суровцев взял его за руку. Какое-то мгновение Мессинг стоял неподвижно, я бы сказал, окаменело, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом, волоча за собой Суровцева, быстро устремился по ступенькам со сцены в зал. «Приказывайте. Приказывайте»,— хрипло, задыхаясь, повторил он, пробираясь между рядами.

Когда Мессинг втиснулся в наш ряд, меня охватил страх. Он остановился около нас, потом резко подался назад и захрипел Суровцеву: «Приказывайте! Приказывайте!»

Потом опять двинулся вперед, схватил за руку моего отца и потащил его на сцену. Одной рукой Мессинг держал отца, другую его руку сжимал Суровцев. Мессинг порывисто бежал к сцене. Отец и Суровцев с трудом поспевали за ним. На сцене Мессинг отпустил отца. Мгновение постоял, наклонив голову, опять словно бы прислушиваясь к себе, потом протянул руку к портфелю, сказав: «Разрешите». И, не дожидаясь ответа, раскрыл портфель, достал ручку, бросил ее на стол и в изнеможении опустился на стул.

Несмотря на то что у нас на глазах он совершил почти что чудо, мне было почему-то жаль его.

— В самом деле жалко,— сказал Семен Неверов,— с таким даром — и выступать на эстраде...

— Вот в войну бы,— мечтательно сказал Никита Пронин,— разгадывать мысли врагов.

— Не выйдет! — высунула ему язык Наталья.— Надо внушать, приказывать... Слышал, как рассказывал Николай Михайлович? Где ты такого идиота-врага найдешь?

Пронину не хотелось сдаваться. Но все же пришлось замолчать.

— Дар особый,— сказал Николай Михайлович.— И тут особый дар, — показал он глазами на газету.— Здесь нет мистики. Просто наука еще многого не знает.

9

Стоять, видно, этой зиме суровой и снежной. Бело до боли в глазах в лесу, где чернеет старая баня. Белый пуховый шлем украсил ее безобразную от времени голову. Покосившиеся бока подпирают искрящиеся на солнце сугробы, которые кажутся не белыми, а многоцветными. И так хочется поваляться в них, так манят они своим мягким уютом.

Вокруг баньки хороводы подлеска. Деревца под мохнатыми снежными шапками напоминают то грибы на толстых ножках, то присевших зайцев, а то и человеческие фигуры можно угадать в причудливых снежных скульптурах.

За подлеском стеной встает тайга. Ох и хороша же она в зимние дни — пронизанная ярким солнцем, утонувшая в морозном тумане, разукрашенная искрящимся куржаком!

Здесь когда-то был выселок, а теперь остались только следы его: поскотина, фундамент дома да вот эта старая, покосившаяся баня... Ученики восьмого «А» облюбовали ее для своих вечеров и назвали «Избой раздумий».

Ребята поставили в бане железную печь, смастерили у стен деревянные лавки. Кто-то принес журнальный столик, с которого «ради общего стиля» соскребли полировку. В окна вставили слюду. Лаля Кедрина принесла два старинных подсвечника со свечами.

В этот вечер на лыжах пришли в «Избу раздумий» все до одного. Торжественно расселись по лавкам. Зажгли свечи и затаив дыхание стали слушать Николая Михайловича.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

ВЕДЬМА

В ту пору в городе N проездом в Японию остановился наследник престола, и Николай Саратовкин, как крупнейший капиталист Сибири, был приглашен генерал-губернатором на обед в честь «высокой особы».

Двухэтажный каменный генерал-губернаторский дом стоял на набережной, фасадом к реке-красавице — зеленоокой, быстротекущей и обжигающе холодной даже в знойные летние дни.

В тот вечер, казалось, все население города хлынуло к генерал-губернаторскому дому, заполняя набережную и близлежащие улицы. Всем хотелось увидеть хоть издали будущего монарха, посмотреть, как куражат жизнь те, кто имеет власть и деньги.

Николай Саратовкин не только увидел наследника, но и был представлен ему.

— Ваше императорское высочество! — склоняясь в полупоклоне, говорил генерал-губернатор.— Этот молодой человек значительными капиталами приносит пользу отечеству.

Молодой блондин в мундире капитана, которому судьба неизвестно за что уготовила будущее монарха великой державы и бесславную гибель от рук своего же народа, окинул Ни-

колая Саратовкина рассеянным холодным взглядом. А молодой миллионер, тоже случайный баловень судьбы, глядел на будущего монарха восторженными глазами.

Яркий праздничный зал ничуть не напоминал о глухой провинции. Он блестел рамами дорогих картин, позолотой мебели, хрусталем пышных люстр. С хоров грянул духовой оркестр.

Будущий монарх благосклонно оглядел нарядных дам и на всю жизнь осчастливил хозяйку дома, повел ее к столу.

Но не встреча с наследником престола, не новизна впечатлений парадного обеда сохранила навсегда в памяти Николая Саратовкина этот вечер.

Тогда на розовое от зари небо его юности взошла романтическая звезда любви, любви, которую пронес он в сердце своем через всю жизнь. И даже старцем он вспоминал ее стихотворным четверостишием:

Среди миров, в созвездии светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

Наследник уехал рано. Генерал-губернатор отправился в его свите. Они увезли с собой напряженность и чопорность. В зале стало шумно, весело, оживленно.

Николай Саратовкин стоял с бокалом в руке среди гостей, заискивающих перед молодым миллионером, удостоенным чести говорить с наследником, когда к ним торопливо подошел городской голова — пожилой человек, удивительно подвижный, несмотря на хромоту и тучность.

— Господа! — приподнято сказал он, белоснежным платком отирая пот с лысины и мясистого пористого носа.— Слышали новость?

И он рассказал, что на окраине города в маленьком домишке, где живет старуха с внучкой, вот уже несколько дней происходят чудеса.

— Чепуха! — рассмеялся директор гимназии, небольшой, сухонький старичок, с живым, строгим лицом, испещренным следами перенесенной оспы.

— Дьявольское наваждение! — размашисто перекрестил грудь, украшенную массивным золотым крестом, архиерей в черной рясе, в высоком клобуке. При своей худобе и значительном росте он казался еще более худым и возвышался, как и полагалось ему по чину, над всей «паствой».

— Сам видел. Сам дивлюсь и в толк не возьму, что это такое,— не обижаясь на директора гимназии, продолжал городской голова.— До шестидесяти лет дожил — чудес не видел, а тут такое, что ум за разум заходит!

— Чепуха! — снова сказал директор гимназии и убежденно тряхнул головой. С носа его свалилось пенсне и повисло на шнуре.

— Чепуха, говорите?! — повысил голос городской голова.— А ну едемте со мной, сейчас же. Господа! Кто хочет поглядеть на чудо?

— Конечно, я,— улыбаясь, сказал директор и, манерно оттопырив мизинец, водворил пенсне на нос.

— Я! — торопливо воскликнул Николай Саратовкин.

— А вы, владыко? — спросил городской голова архиерея.

Тот отрицательно покачал головой и пробормотал:

— Верю на слово. Да и не любитель сатанинских проделок, не любитель.

Может быть, этот поздний осенний вечер был обычным осенним вечером, которые опускаются на землю из года в год, из века в век. Но через десятки лет, когда Николай Михайлович вспоминал притихший город, светлый серп месяца, повисший над крестами собора, высоко поднятыми в небо, коляску, которую кони с трудом выволакивали из грязи окраинных улиц, ему все это казалось значительным. Будто говорило, что должно произойти что-то очень важное, что оставит след на всю жизнь.

Старый домишко с низко нахлобученной крышей был погружен во мрак. Закрытые ставни напоминали опущенные веки спящего. Домишко охраняла стража, разгоняя любопытных, которые даже в это позднее время стекались сюда со всего города.

Двери дома оказались незакрытыми, и приезжие вошли сначала в сени, потом в душную, темную кухню.

— Эй, хозяйка, давай лампу! — приказал городской голова.

В темной горнице послышался скрип деревянной кровати, полусонное бормотание, шлепанье босых ног. Потом в кухню вошла большая рыхлая старуха, щурясь на зажженную лампу, которую она осторожно несла в руках. Видимо, ей надоели посетители, именитые и неименитые, и она поздоровалась неприветливо, не сдерживая досады. Старуха поставила лампу на стол, а сама, то и дело позевывая и крестя рот, села у печки на скрипучий табурет.

Городской голова, директор гимназии и Николай Саратовкин присели на лавку и стали ждать чуда.

Но чуда не было. Николай разглядывал кухню, в которой

стояли всего лишь лавка, стол, табурет да кадка с водой. На плите у чела русской печи была свалена немытая посуда. Текли минуты, а чуда по-прежнему не было, и городской голова начинал беспокоиться.

В горнице послышались легкие шаги, и в дверях появилась девочка. На вид ей было не более пятнадцати лет. Помятое ситцевое платьице, в котором она, видимо, спала, не скрывало угловатость и худобу ее тела. Взлохмаченные темные волосы она наспех прихватила красной тряпкой, и они висели до пояса неаккуратной метелкой.

Девочка мельком взглянула на посетителей и, не поздоровавшись с ними, встала у стены возле бабки.

Свет лампы падал на девочку, и Николай Саратовкин внимательно и даже удивленно разглядывал ее кроткое личико, хрупкую шею, щеки, залитые ярким со сна румянцем, и широко расставленные огромные глаза, блестящие и темные. На обветренных губах блуждала загадочная усмешка.

Весь облик ее, по-детски безвольный, вызвал у Николая щемящую жалость. Он вдруг представил ее в бальном платье, с локонами, рассыпанными по открытым плечам, и подумал, что на любом балу она была бы не хуже других девиц.

Она не поражала красотой, но если бы рядом с ней стояли десятки красавиц — не выделить ее было бы невозможно.

И Николай почему-то с грустью подумал, что ей никогда не бывать на балу и не стоять рядом с городскими красавицами.

— Ну-с, может быть, поедем? — любезно спросил директор гимназии, рукой с оттопыренным мизинцем расстегивая пальто и вынимая из кармана жилета часы на золотой цепочке.

— Что ж...— начал было городской голова и вдруг замолчал.

Его глаза, устремленные на печь, округлились, на лице появилось выражение торжества и ужаса. Все проследили за его взглядом и замерли.

По шестку к краю медленно двигалась деревянная ложка. Она на секунду задержалась, точно раздумывая или колеблясь, затем рывком переползла белый кирпич и упала на пол.

Директор гимназии проворно подскочил к печке, провел рукой по воздуху, словно желая убедиться, нет ли тут невидимой глазу нитки, затем присел на корточки возле упавшей ложки, протянул к ней руку, но не дотронулся до нее.

— Опять, опять, экая чертовщина! — воскликнул городской голова, вскакивая.

Директор гимназии отшатнулся от печки: по шестку двигалась вторая ложка.

— Видимо, действие каких-то подземных газов на деревянные предметы...— рассеянно бормотал директор.

А в это время по столу уже ползла картошка, все ближе и ближе к его краю.

Николай, охваченный необыкновенным волнением, не отрываясь следил за картошкой, пока она не упала на пол. Он перевел взгляд на девочку.

Вывернув плечи, придерживаясь руками за стену и всем телом подавшись вперед, она не сводила широко открытых глаз со стола, на котором лежала горка картофелин. Лицо ее было напряженным, мертвенно-бледным, по нему катились капельки пота.

Николай вскочил. Он хотел подбежать к ней, поддержать, чтобы она не упала, успокоить ее. Но его остановило странное выражение лица девочки. На нем не было страха. Не было растрогавшего его безволия. Ее лицо, фигура, поза были волевыми, жесткими, даже грозными.

— Батюшка! — запричитала старуха и рухнула в ноги городского головы.— Отселил бы ты нас куды-нибудь. Мо́чи боле нет с нечистой силой бок о бок жить. Соседи-то уж меня за колдунью почитать стали!

А Николай не мог оторвать взгляда от необычного лица девочки. Пока старуха валялась в ногах у городского головы, девочка села на табурет, закрыла глаза, бессильно бросила вниз руки, точно устала от тяжелой работы. На лицо ее медленно возвращался румянец.

— Ну, а что вы, молодой человек, думаете по этому поводу? — обратился к Николаю директор гимназии.

— В чудеса не верю. Но тут... тут ничего не понимаю...

Николай вновь взглянул на девочку и был снова поражен той переменой, которая мгновенно произошла в ней. Она стояла у стены. Румянец заливал ее щеки. На полуоткрытых обветренных губах и в полуоткрытых глазах вспыхивала робкая, загадочная усмешка.

Нет, никогда не видел Николай лица лучше этого.

Вскоре гости покинули заколдованный домик. Городской голова пообещал завтра же переселить старуху и внучку. А директор гимназии взялся собрать здесь ученых людей, чтобы подумать над чудесами.

Перед дверью Николай задержался.

— До свидания,— сказал он.

— Доброй дороги, доброй дороги! — пожелала старуха.

Внучка подняла глаза на молодого человека и улыбнулась

ему какой-то неожиданной, искрящейся улыбкой. От этой улыбки у Николая забилось сердце, и так не захотелось уходить. Поглядеть бы еще на эту удивительную девочку, может быть, перекинуться с ней словом. Услышать ее голос. Но с улицы его окликнули, и он вышел взволнованный, утешая себя тем, что завтра же снова побывает здесь.

Это была первая бессонная ночь в жизни Николая. Он до рассвета просидел в любимом отцовском кресле у потухшего камина.

Юноша закрывал глаза, и перед ним возникало бледное волевое лицо девочки из «заколдованного домика», ее неожиданная искрящаяся улыбка. Интуитивно он угадывал какую-то непонятную ему связь между этой девочкой и чудом, свидетелем которого он был. Чудо само по себе почему-то произвело на Николая меньшее впечатление, чем девочка. Она же показалась настолько необыкновенной, что невозможно было представить ее существование без чудес. Она сама была чудом.

Утром и днем Николая задержали дела, и в «заколдованный домик» он поехал только вечером. Так же, как вчера, ставни окон в доме были закрыты, а стража разгоняла любопытных.

Стражник сказал, что старуху и девочку вместе с вещами недавно куда-то увезли.

От этих слов Николая охватило отчаяние, но он сейчас же утешил себя тем, что все равно разыщет ее.

Он вошел в дом. В избе было совершенно пусто. Вдруг на полу среди мусора шевельнулась и двинулась скомканная бумажка. Но Николай совершенно спокойно взглянул на нее. Он был убежден, что теперь здесь не могло быть чудес. И действительно, бумажонку погнал ветерок.

Николай заглянул в горницу — маленькую, темную оттого, что ее крошечное окно упиралось в забор. Он подумал о том, что *ОНА* выросла в этой нищете, в этой темноте... Но, вероятно, были у нее и радости, если она умела так ослепительно улыбаться.

Он заметил на полу маленький мяч, сшитый из тряпок, и с благоговением подобрал его.

«Как же ее зовут?» — подумал Николай.

— Наверное, Любовь... Любава,— ответил он вслух сам себе и улыбнулся своему неожиданному предположению.

Он вышел из дома. Постоял у ворот. На вопросы любопытных — ползают ли вещи? — ответил, что вещей в доме нет.

«С чего же начать поиски?» — подумал он и решил зайти к соседям.

Он поднялся на крыльцо такого же ветхого маленького домика и постучал в дверь. В сени вышла молодая женщина с красными, в мыльной пене, по локоть открытыми руками. Увидев барина, она принялась вытирать руки о фартук и пригласила Николая в дом. Но он отказался.

— Я только хочу спросить,— смущаясь, сказал он,— куда переехали ваши соседи — старуха и внучка?

Женщина уточнила:

— Панкратиха с Любавой?

— С Любавой? — бледнея, повторил Николай, и ему вдруг стало не по себе.

— Не знаю, барин. И не хочу знать. Что Панкратиха, что Любава — обе с нечистой силой знаются.

Николай ничего не ответил, спустился с крыльца, пересек двор и вышел на улицу.

— Быстрее. К городскому голове,— бросил он кучеру, вскочив в коляску.

— В присутствие или к дому? — спросил мордастый кучер в высокой шапке, в тулупе, перетянутом ремнем с теми же украшениями, что и на лошадиной упряжи.

— В присутствие.

Когда коляска выехала на главную улицу, Николай увидел возле сквера городского голову и директора гимназии.

— Стой! — крикнул Николай.

— А! Господин Саратовкин, Николай Михайлович! — приветливо встретил его городской голова, снимая шляпу и раскланиваясь.

Слегка приподнял форменную фуражку и директор гимназии.

— А мы вот все насчет вчерашнего толкуем...— продолжал городской голова.

— И я насчет вчерашнего...— сказал Николай.— Не знаете ли вы, куда старуху с внучкой переселили? Я вчера портсигар у них забыл.

— Вот-вот,— заторопился городской голова.— Девица эта мне сегодня сказала: «Господин, говорит, вещицу ценную у нас забыл, так вы скажите ему, где мы теперь, может, пошлет кого».

Николай растерялся. Ему опять стало не по себе, так же, как тогда, когда соседка назвала имя девушки.

Теперь он знал ее адрес. Знал ее имя. Весь следующий день мысли о ней не покидали Николая, но что-то удерживало его идти к ней.

Ночью он увидел сон.

Потрескивая и рассыпая искры, горели в камине дрова. И вдруг из пламени взглянули на Николая глаза — черные, блестящие. Светом своим они убили свет пламени. Огонь потух. Из камина вышла Любава, стряхнула с распущенных волос, с мятого платья пепел. Сквозь нее просвечивали цветы шелка, которым были обиты стены комнаты.

— Ты боишься меня, потому не пришел, да? — шепотом спросила она.— Ты приходи, не бойся. Я завтра целый день никуда не уйду. Буду ждать тебя...

Она вдруг превратилась в кукушку и улетела через окно.

Николай проснулся. Была глубокая ночь. На часах в столовой куковала кукушка. Во дворе хриплым лаем заливался старый пес. С улицы доносился стук колотушки ночного сторожа. А из соседней комнаты, заглушая все звуки старого дома, слышался мощный храп матери.

Николай до рассвета лежал не закрывая глаз. Беспокойное ощущение, вызванное сном, постепенно улеглось.

Он встал, по обычаю, заведенному еще при жизни отца, похлебал кислых щей, выпил крепкого, обжигающе горячего чаю и поехал на окраину города, где за монастырской усадьбой доживало свой век старое кладбище, затененное столетними соснами и елями, заросшее буйным молодым подлеском.

Здесь все было знакомо. Николай часто приезжал на могилу отца. Он вошел в открытую калитку кладбища, мельком взглянул на окна сторожки, затянутые занавесками, прошел по дороге мимо, свернул на тропинку, петляющую между могилами и стволами сосен.

Михайло Иванович Саратовкин был погребен в фамильном склепе из черного мрамора, с позолоченным крестом наверху. На склепе такими же позолоченными буквами было написано: «Да будет воля твоя!»

Николая с детства волновали эти слова своей страшной покорностью богу, непостижимой уму и сердцу.

Николай снял шляпу и склонил голову перед склепом. Сразу же он услышал шорох позади себя и обернулся, уверенный в том, что сейчас увидит Любаву.

Действительно, прислонившись к стволу сосны, стояла она. Ее черные, вьющиеся волосы были тщательно причесаны и ничем не покрыты. Она завернулась в старый бабкин салоп, стараясь скрыть, что он велик ей.

Девушка улыбнулась смущенно и чуть слышно сказала:

— Я увидела вас в окно, барин. У вас тут батюшка схоронен?

Николай отметил, что она сообразительна и смела — сразу же нашла тему для разговора, а он растерялся.

— Да, батюшка,— сказал он.— Видите, вот в этом склепе...

— Красивый склеп. И слова какие написаны!..

— Это из Евангелия,— сказал Николай.

— Я знаю, что из Евангелия...

И они замолчали.

— Вы что же, теперь здесь всегда будете жить? — поинтересовался Николай.

— Всегда. Бабушка сторожить кладбище нанялась, а я ей подсобляю. Я вчерась все кладбище обошла. Здесь красиво.

И опять они помолчали.

— А вам не страшно тут? — спросил Николай.

— Мы с бабушкой смелые. Живых людей нам больше боязно. А мертвые спят. Они не обидят. За жизнь-то наобижали друг дружку вдосталь, теперь отдыхают.— Она недобро усмехнулась.

— Где же вы грамоте обучались, Любава?

Она заметно обрадовалась тому, что он назвал ее по имени, покраснела и, смущенно улыбаясь, сказала:

— Сначала бабушка учила. А теперь я в воскресную школу хожу. Я страсть как люблю книги читать. Только вот где их брать? Если у вас есть книжки — может, дадите?

— У меня много книг,— горячо заговорил Николай.— Я буду приносить их вам. Хотите, Любава, я буду учить вас?

Она ничего не ответила на эти его слова, а только спросила:

— А вы начальнику сказали, что забыли у нас что-нибудь?

«Откуда она знает про это?» — тревожно подумал Николай.

— Откуда я знаю?— вдруг ответила Любава на его мысль.— Я не могу объяснить. Я иногда могу делать то, что другие не могут. Это ведь я вещи в избушке двигала... Откуда я знаю, почему? Такая уж я родилась. Со мной никто знаться не хочет... Ведьмой меня кличут... Вот и вы не пожелаете книжки мне давать, не пожелаете. И учить меня не пожелаете.

Она закрыла лицо руками и по-детски безудержно заплакала.

— Любава! — Николай шагнул к ней.

Но она отскочила, вытерла слезы кулачками.

— А я могу заставить! — вдруг крикнула она, и глаза ее загорелись, слезы мгновенно высохли.— Даже вас, барин, заставить могу, если захочу. Только я не хочу захотеть. Я хочу, чтобы вы сами...

И она исчезла так же неожиданно, как появилась. Если бы

не слышался шорох сухих листьев под ее ногами и не мелькал старый салоп между стволов деревьев, крестов и памятников, можно было бы подумать, что это исчез призрак.

Следующие дни Николай был занят делами, связанными с поступлением на учительские курсы. Новый мир, в котором он оказался, так увлек его, что он забыл о Любаве.

В первый же день занятий Николай был поражен и обрадован, увидев на кафедре того самого учителя гимназии, который когда-то заступился за него перед классом.

После занятий, на улице, Николай дождался лектора, снял фуражку, почтительно поклонился и сказал:

— Василий Мартынович! Вы меня, конечно, запамятовали. Таких, как я, сотни прошло через ваши руки. А я вас всю жизнь помнить буду. И на курсы я пошел потому, что мечтаю стать таким, как вы.

Василий Мартынович некоторое время серьезно и напряженно смотрел на молодого человека, как бы перебирая в памяти бесчисленные детские лица.

— А! Николай Саратовкин! Помню, помню. Хорошо, что мы с вами встретились. Мне ведь давно надо было рассказать вам конец той истории. Дело в том, мой молодой друг, что конец-то был мною выдуман для педагогических целей — чтобы вас выгородить. А подкидышем-то у купца Саратовкина был не первый сын, а вы. Вы теперь взрослый, вам надо знать правду. И мать свою постарайтесь разыскать.

Теперь, когда прошли годы и стали стираться воспоминания о нянюшке Феклуше, слова Василия Мартыновича не произвели на Николая того впечатления, какое они имели бы прежде, но все же на душе стало беспокойно, так беспокойно, что захотелось немедленно кому-то рассказать обо всем, ощутить сочувствие, послушать добрые советы.

И конечно, он вспомнил о Любаве.

Он долго бродил по кладбищу, то и дело выжидательно поглядывая, не дрогнет ли занавеска на окне сторожки. Ему все же пришлось подняться на шаткое крылечко и постучать в низкую дверь.

— Войдите! — откликнулась хозяйка.

И он вошел.

Прежде всего он увидел огромные, блестящие глаза Любавы. Девушка лежала на кровати, закрытая до подбородка старым лоскутным одеялом. Потом только он заметил и Панкратиху. Здесь так же, как в «заколдованном домике», Николая поразила удручающая бедность. Она сказывалась во всем: в от-

сутствии мебели, в одежде старухи, в спертом воздухе, в закопченных стенах, холоде, почти таком же, как на улице.

Николай поздоровался и торопливо шагнул к постели.

— Она больна? — растерянно спросил он старуху.

— Теперича ожила. А была-то совсем плоха. На ладан дышала. Думала — преставится,—удивительно спокойно произнесла она эти страшные слова.

— Я сейчас быстро, за доктором! — Николай двинулся было к двери.

Но старуха остановила его.

— Я сама лекарь, барин. Кажную травинку знаю. Теперича на поправу Любава пошла. Не тревожься понапрасну.

Любава приподнялась на локте. Ее черные вьющиеся волосы разметались по плечам. Исхудавшее личико озарилось искрящейся улыбкой. Чувствовалось, такой свет, такая радость наполняли все ее существо, что она с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить и не броситься на шею Николаю.

— Сядьте, Николай Михайлович. Бабка, дай табуретку.

Старуха фартуком смахнула пыль с табурета, поставила его возле самой кровати, а потом подумала и отодвинула подальше.

Делала она это неторопливо, неуслужливо, скорее с недовольством.

Николай снял пальто, фуражку, поискал несуществующую вешалку и, не найдя ее, положил одежду на край лавки.

Он долго просидел у постели Любавы. Они были вдвоем. Панкратиха в это время сопровождала похоронную процессию.

Николай поведал Любаве свою семейную историю. Любава близко к сердцу приняла ее, даже прослезилась и стала придумывать, как приступить к поискам матери Николая. Видимо, теперь молодой миллионер показался ей не таким недоступно далеким. Она даже один раз назвала его просто Николаем, покраснела и вопросительно взглянула на него.

— Только так, Любава, мы же с вами друзья.

У окна избушки послышались шаги Панкратихи, и Николай засобирался домой. Он решительно положил на стол деньги. Все, какие были с собой. А их оказалось не так мало.

Он боялся, что Любава обидится, не возьмет. Но она вспыхнула, опустила глаза, сказала:

— Спасибо.

На другой день Николай уехал на золотые прииски. А когда через несколько дней возвратился домой и обедал с матерью, оживленно рассказывая ей о делах, стряпуха Агафья, подавая жаркое, сказала:

— Опять пришла та барышня, что вчерась вас, Николай Михайлович, спрашивала... Такая красивая барышня и чудна́я, страсть!

Сердце Николая защемило предчувствием: «Это Любава». Он бросился к окну, взглянул и выбежал из комнаты.

У крыльца стояла Любава. Была она неузнаваемой: в модном жакете, из-под которого падали складки шерстяной длинной юбки, открывая носки новых ботинок. Голову ее украшала красивая шляпка с вуалью, руки были затянуты в перчатки.

— Я ваши деньги принесла. Бабка приказала отдать. Только я вот, крадучись от нее, этот туалет купила себе. Посмотрите — я не хуже тех барышень, с которыми вы на балах танцуете? Не хуже, правда? Все дело только в красивой одёже... Я вот покажусь вам, приду домой — на кладбище — и переоденусь. А когда бабки дома не будет, сожгу все в печке — и шляпку и перчатки...

Она протянула Николаю деньги, завернутые в бумагу.

— Любава! — умоляюще сказал Николай.

— Нет, Николай Михайлович, бабка приказала с деньгами домой не приходить. Возьмите уж, а то я их на землю кину, а люди и так в окна на нас глядят. Вам же неловко будет.

Действительно, отодвинув занавеску, из окна столовой смотрели мать и Агафья. В окне людской тоже виднелись любопытные лица.

Николай взял деньги.

— Меня не провожайте,— сказала Любава,— лучше вслед мне поглядите. Больше меня такой не увидите.

И она пошла. Николай глядел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла за калиткой.

Как она шла! Спокойно, величаво, гордо приподняв голову. Так под посторонним пристальным взглядом может ходить только царица или великая актриса.

Через несколько дней Николай снова пришел на кладбище.

В этот день «легла зима», как говорили в народе. Легла прочно. Бросила свои белые пуховики на улицы города, кинула их на крыши, присыпала легким пушком козырьки ворот и калиток и здесь, на кладбище, укутала могилы, склепы и кресты.

Кладбище выглядело теперь нарядным и чистым.

Николай смотрел на старый салоп Любавы, на ее подшитые, не по ногам большие валенки, выцветший капор — и ему становилось больно и стыдно за свою щегольскую шубу и бобровую шапку.

Но и в этом нищенском одеянии Любава казалась Николаю прекраснее всех девушек на белом свете.

Он заметил ее покрасневшие пальцы и не удержался, взял их в свои руки, поднес к губам и дыханием стал согревать. Это была первая несмелая ласка, и осталась она незабываемой на всю его жизнь...

Послышался скрип снега, и возле них появилась тучная Панкратиха в старом платке, в длинном, распахнутом пальто. Она, видимо, торопилась сюда и запыхалась.

— Здравствуйте, барин,— недобро сказала Панкратиха.— Любава! Поди-ка в дом! Дров подбрось в печь, не потухла бы. А у меня до вас разговор есть.

Любава пристально взглянула на бабку, потом на Николая и молча пошла прочь. Николай смотрел ей вслед и не сразу услышал и понял то, что сказала ему Панкратиха.

— Вы, барин, Любаву забудьте. Не пара она вам. Поразвлечетесь да бросите. Богачи завсегда так. Хоть и нищие мы, да не все за деньги продаем. Вы на Любаве не женитесь. А поломать ее жизню я не дам. Понятно вам, барин?

И она ушла.

Николай долго стоял в растерянности. А потом тихо пошел между заснеженных могил на дорогу, мимо темного дома Любавы.

Он никогда не думал о возможности жениться на Любаве. Он вообще еще никогда не думал о женитьбе. Его чувство к Любаве было возвышенным и романтичным. Никогда не думал он, что встречи с Любавой могут вызвать различные толки.

И теперь, возвращаясь домой и вспоминая слова Панкратихи, он с отчаянием понял, как сложна и трагична жизнь. Он не мог встречаться с любимой девушкой. Он, богач, не мог избавить ее от нищеты. Не мог он и жениться на ней. Разве мать и дядя позволили бы ему это? Скорей бы Любава исчезла так же загадочно и бесследно, как исчезла нянюшка Феклуша.

Николай еще раз попробовал узнать у Анастасии Никитичны судьбу своей матери. Он стал взрослым и теперь уже мог прибегнуть к обдуманной хитрости.

Однажды за обедом, в присутствии дядюшки, он весело стал вспоминать детство, подсмеивался над француженкой Жанной Жановной и будто бы невзначай вспомнил нянюшку Феклушу.

— Какие хорошие сказки знала она! Где она теперь? — намеренно равнодушно обратился он сразу к дяде и к матери.— Вроде бы и привязана была ко мне, растила ведь, а вот забыла и попроведовать не зайдет.

Дядя пожал плечами: дескать, ничего не знаю. А лицо Анастасии Никитичны стало холодным, непроницаемым.

И еще раз Николай понял, что она никогда ничего не скажет ему о судьбе родной матери.

От старых слуг он знал, что нянюшка Феклуша исчезла на другой день после пожара, даже за вещами не зашла в людскую, «так и сгинула, прямо из барских покоев».

Можно было бы начать официальный розыск. Но это немедленно станет известным Анастасии Никитичне, и конечно, она примет все меры, чтобы помешать.

И Николай решил ждать.

После лекций и обременительных занятий с дядюшкой делами приисков и сиротских домов Николай почти ежедневно приходил на кладбище, подолгу стоял у склепа, ждал Любаву. Ходил по широкой аллее, издали поглядывая на старый, осевший домишко, словно тоже наполовину похороненный в земле.

Дважды издали он видел Панкратиху с охапкой высохших венков, которыми за неимением дров топила она печь. Он прятался за деревьями. А Любава не появлялась.

Однажды вечером он снова был на кладбище и ждал. Всходила луна, могильные холмики, засыпанные снегом, становились голубыми, еще более холодными, еще более мертвыми. И на сердце ложилась тоска, такая же холодная и беспросветная. Тоска и горечь. Горечь оттого, что он был уверен: Любава, которую природа наградила странным даром провидения, не могла не почувствовать, что он здесь, что он ждет ее.

Она действительно знала это, но не пришла к нему ни в первый, ни в последний раз его ожидания. В последний раз, в те часы, когда Николай бродил по кладбищу, она сидела на стареньком, скрипучем табурете, прижавшись спиной к холодной печке, до белизны сцепив пальцы рук, устремив горящий взгляд в темное окно, и вслух приказывала себе:

— Нет, не выйду. Нет, никогда больше не увижу его. Выброшу его из сердца. Он барин. Я ему не пара. Бабка права. Дороги наши разные.

Через некоторое время она встала, потянулась, спокойно оглядела комнату и, напевая, принялась стелить постель.

Так и застала Панкратиха внучку, внимательно и одобрительно взглянув на нее.

Не зажигая огня, они молча легли рядом на кровать, укрылись лоскутным одеялом, и Любава сразу же уснула.

А Николаю пришлось перелезть через забор, потому что Панкратиха закрыла ворота кладбища.

10

— Слушай, Коля,— сказал Павел Нилович идущему по коридору Грозному,— зайди-ка ко мне.

Гремя увесистой связкой ключей и чертыхаясь, Павел Нилович толкал в замочную скважину то один, то другой ключ. Наконец дверь открылась.

Они вошли в директорский кабинет. В углу стояла полированная горка, обе стеклянные полки ее были уставлены спортивными призами школьников. Тут были награды волейбольных команд, лыжников, конькобежцев, пловцов.

Павел Нилович указал Грозному на свое кресло за столом, а сам сел на стул напротив.

— Что-то некоторые учителя, Коля, на тебя бочку катят.

— Я знаю, что катят. И давно.

— Может, в самом деле ты запанибрата с учениками?

— Я не замечаю, чтобы ученики мои перестали меня уважать или слушаться.

— Да, это верно,— вздохнул Павел Нилович.— И слушаются и уважают больше, чем других. А вот некоторым учителям все же это не по душе. Говорят, умаляешь авторитет взрослых, учителей.

Николай Михайлович пожал плечами.

— Павел Нилович! Всем угодить невозможно. Иду, например, я в старом, поношенном костюме. Некоторые смотрят и говорят: ишь скряга! Зарабатывает неплохо, мог бы получше одеться! Иду в новом костюме, при галстуке модном. Опять говорят: ишь вырядился — деньги девать некуда. Семьи, детей нет. Денег — пруд пруди.

Павел Нилович невесело засмеялся.

— Ну, а что там за банька в лесу появилась? Слух идет — уединяетесь.

— А вы не слухам верьте, Павел Нилович, только собственным впечатлениям. Мне запомнилось, как вы во время ремонта буквы на стене ощупывали и приговаривали: «Русский человек глазам не верит».

— Ладно. Приду посмотрю.

— И лозунг Саратовкина вам по душе был, Павел Нилович. Надо не только учить, но и воспитывать. И я нашел метод воспитания. Вернее, не я, а сами ребята подсказали его — очень романтичный, стало быть, интересный ученикам, и, с моей точки зрения, весьма эффективный. Да вы, Павел Нилович, поставьте этот «мой вопрос» на педсовет. Поговорим. Обсудим. Поспорим. А может, кто и переймет опыт,— вдруг разволновался Николай Михайлович.

— Я к тому и клоню. Мы с тобой всегда об одном думаем. Поставим-ка в самом деле «твой вопрос» на педсовет.

И почему-то в эти минуты Николаю Михайловичу вспомнилось, как в этой самой школе он, мальчиком, стоял у доски — отвечал урок по физике. Учитель Павел Нилович, еще совсем молодой, с буйной шевелюрой, ставил в журнале за ответ «пять». Николай Грозный всегда получал хорошие оценки. Не потому, что любил этот предмет. Он любил учителя и хотел доставлять ему только приятное. Он любил его и сейчас и тоже хотел доставлять ему только приятное. А вот не получалось. Из-за Николая Михайловича Грозного у директора с учителями были постоянные неприятности.

В дверь кто-то поцарапался.

— Войдите,— сказал Павел Нилович.

В дверях появилась длинная, плоская фигура девочки. «Шестиклассница»,— мысленно определил Николай Михайлович. Девочка смело пересекла кабинет худыми, легкими ногами. Серьезным взглядом, без смущения она поглядела на директора, а на учителя — это хоть известный ей, но не ее учитель — старалась вовсе не смотреть. Глаза у нее были бархатно-черные и длинные, в густых черных ресницах. В глубине их так же, как в легкой улыбке, затаилась капелька нагловатости. Ох, как хорошо знал Николай Михайлович эту защитную реакцию ребят. эту капельку наглости, под которой они стараются скрыть и робость, и смущение, и бессилие, и страх перед взрослыми, которые нередко позорно пользуются этим бессилием и страхом.

— Здесь заявление нашего класса,— сказала девочка, подавая директору вырванный из тетради лист.— Все подписались. Все до одного.

Павел Нилович знал, что Николая Михайловича уже заинтересовало заявление шестиклассников, и читал вслух:

— «Директору средней школы номер два Павлу Ниловичу Кротову.

Заявление

От учеников шестого класса «Б». Нашего классного руководителя Марию Савельевну Чайкину переводят завучем нашей школы, и она от нас уходит. Наш класс очень просит Вас оставить нам Марию Савельевну. Мы ее очень любим.

Мы не хотим, чтобы нашим классным руководителем была Ксения Львовна Рютина, с которой у нас давняя вражда...— Здесь голос директора зазвенел и сорвался. Николай Михайлович знал, что это значит. Павел Нилович сдерживает смех.—...Тогда уж лучше пусть будет нашим классным руководителем Ольга Николаевна Замошкина — наш литератор».

Директор помолчал и сказал почему-то с удивлением:

— Действительно, подписи всего класса.

В это время в комнату, мимолетно стукнув в дверь и не дождавшись разрешения, как это всегда делают завсегдатаи, вошла молодая, красивая брюнетка.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит! — усмехнулся Павел Нилович.— Мария Савельевна! Тут ваши питомцы с петицией.

И он протянул заявление шестого «Б» учительнице. Посланница класса покраснела, выпрямилась и с наглецой поглядела на всех троих взрослых. Учительница наскоро прочла заявление, и глаза ее увлажнились.

— Ах вы мои ушастики! — сказала она, порывисто обнимая девочку, словно это был весь ее шестой «Б».— Ты, Танечка, передай им — я же честное слово дала, что на будущий год вернусь к вам. А пока, Павел Нилович, я уже договорилась с Ольгой Николаевной, если вы не возражаете.

— Вы теперь завуч. Это вопрос вашей компетенции... А вот насчет «давней вражды» класса с педагогом надо бы разобраться...

— Разберусь во всем.

Так, не снимая руки с плеча девочки, Мария Савельевна пошла вместе с ней к дверям, забыв, зачем она приходила к директору.

11

На педагогическом совете разгорелись страсти. Некоторые учителя выступили против методов работы Грозного, считая их антипедагогическими.

Мария Савельевна выступала горячо и страстно.

— Для меня,— говорила она,— учитель Николай Михайлович Грозный со студенческой скамьи был образцом настоящего учителя — одаренного, увлеченного, думающего. Что же вы, Алексей Петрович,— кинула она гневный взгляд на пожилого учителя химии, наполовину скрывшего свое изможденное болезнью лицо за огромными темными очками,— имеете факты, что ученики меньше стали уважать своего классного руководителя с тех пор, как увлеклись лыжными походами в «Избу раздумий», которую обиходили своими руками? Я вас спрашиваю, Алексей Петрович, да или нет? Есть у вас факты, что дети меньше стали уважать своего классного руководителя?

— Фактов у меня нет. Но... это же естественно. Авторитет его рушится. И не только его, но и других учителей. Это аксиома.

— Его авторитет не рушится,— все так же горячо возражала Мария Савельевна.— А других, тех, кого ученики обязательно будут сравнивать с Грозным, очевидно, рушится. И это очень хорошо. Стало быть, надо подтягиваться до уровня настоящего учителя-воспитателя, такого, каким является учитель Грозный.

— Разрешите мне? — попросила слово математичка Вера Ивановна. Она поправила обеими руками пышные, с проседью, волосы, одернула жакет черного костюма и отошла к окну, чтобы видеть всех. Была она высокая и полная, широколицая и толстокостная, но очень складная и приятная.

Она улыбнулась и сказала негромким приятным голосом:

— Ну, это-то все ничего. Меня другое волнует: не кажется ли вам, дорогие товарищи, что Николай Михайлович эксплуатирует своих учеников?

В учительской стало напряженно тихо.

— Чтобы обеспечить учителя материалом для его литературного творчества,— с удовольствием продолжала Вера Ивановна,— его ученики часами работают в архиве в ущерб домашним заданиям и делам по дому. Это нас особенно должно волновать.

Вот тут уж Николай Михайлович не выдержал. Не попросив слова, он вскочил, шагнул к Вере Ивановне и заговорил гневно в улыбающееся, приятное ее лицо:

— Поймите вы! Это же юные следопыты! Проникнитесь, наконец, новым, что несет жизнь. Задумайтесь о новых формах работы. На увлекательных поисках материалов по истории родного края дети учатся и воспитываются, познают жизнь, отношения друг с другом, с семьей, со школой, со взрослыми. Они получают классовое воспитание на незабываемых примерах. Опомнитесь, Вера Ивановна, о чем вы говорите?!

Вера Ивановна снисходительно улыбнулась и спокойным, ровным голосом сказала:

— Детки будут работать. А гонорар — вам? — И она рассмеялась, теперь уже не очень приятным и очень нарочитым смехом.

— Надо же суметь все перевернуть с ног на голову! — с изумлением сказала учительница литературы Ольга Николаевна.— Какая гадость!

Мария Савельевна была потрясена. Она только развела руками.

— У вас, надеюсь, все. Садитесь,— как нашкодившему ученику, брезгливо сказала она. И, не сдержавшись, чуть ли не со слезами: — Как же можно с такими грязными руками прикасаться к детским душам!

— А! — вскричала Вера Ивановна.— Меня оскорбили! Я буду жаловаться в гороно. Вы все слышали, как меня оскорбили?! Внесите это в протокол. Здесь не школа, а лавочка!

— Это тоже в протокол? — спросил учитель физики, молодой человек с длинными волосами и небольшой вьющейся бородкой.

— Оскорбляют! Эксплуатируют учеников! — продолжала кричать Вера Ивановна.— Прибегают к антипедагогическим методам работы! Директор молчит! Завуч поощряет! Лавочка! Не школа, а лавочка!

Вера Ивановна оторвалась от подоконника, прижавшись к которому она стояла, и, красная от волнения, плюхнулась в мягкое кресло.

Шум поднялся такой, что утихомирить взрослых было сейчас труднее, чем разбушевавшийся класс. Кто-то негодовал, кто-то кого-то обвинял, кто-то уговаривал, кто-то смеялся.

Наконец все вспомнили, что они взрослые воспитатели, что идет педагогический совет, что на повестке дня есть еще и другие вопросы. Страсти понемногу улеглись. Была создана комиссия из четырех учителей — проверить работу Николая Михайловича Грозного. Вторая половина педсовета проходила спокойнее.

Правда, говоря о недостатках учебника по литературе для восьмых классов, Ольга Николаевна снова разволновалась:

— Положение у нас, литераторов, сложное. До войны, например, в восьмых классах мы имели шесть часов, а теперь только три. Эту потерю должен был возместить учебник. А он настолько слаб, что диву даешься. Я убеждена, что сигналы из школ в министерство идут беспрерывно.

Учителя были очень удивлены, когда вдруг поднялся Николай Михайлович. Все думали, что Грозный подавлен, отрешен, занят своими неприятностями. А он вдруг как ни в чем не бывало встал и горячо вступил в обсуждение.

Николай Михайлович говорил долго и увлеченно.

Ольга Николаевна спросила его:

— Откуда вам так хорошо известен учебник литературы?

Он ответил, пожимая плечами:

— Так я же классный руководитель восьмого, следовательно, обязан знать все, чем они живут...

Домой он ушел первым, не задерживаясь. Прошелся пешком до своего дома. И дорога развеяла неприятный осадок, оставшийся в душе его после педагогического совета.

За письменный стол Николай Михайлович сел в самом отличном настроении.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

«СИРОТСКИЙ ДОМ М. И. САРАТОВКИНА»

Такая вывеска с оранжевыми буквами красовалась на воротах, козырьки которых были словно сплетены из деревянного кружева, по краям их два петуха с открытыми клювами раскинули крылья. Так и казалось, что вот-вот они захлопают крыльями и заголосят на весь околоток свое пронзительное «ку-ка-ре-ку!».

Это была отличная работа по дереву неизвестного мастера. Такую удивительную резьбу здесь можно было встретить на каждом шагу.

Вот напротив сиротского дома небольшой двухэтажный флигель часто задерживает внимание прохожих. С интересом разглядывают они уже почерневшую от времени, тонкую, замысловатую резьбу оконных наличников, кружева в ладонь шириной, свисающие с крыши, четырехгранные столбцы крыльца, тоже обвитые затейливыми кружевными лентами. Видно, когда-то и скамеечка под окнами дома была обведена деревянными узорами, но теперь от них мало что осталось.

Сиротский дом стоял на горе. Размещался он в двух дворах. Верхний, на взлобке, и нижний, расположенный по спуску горы. В первом дворе в двухэтажном каменном доме верх занимали классы, где учились дети. Низ — швейные мастерские и

столовая. В глубине двора длинные деревянные флигеля-спальни, напоминающие наспех построенные бараки со множеством окон.

Во втором дворе, ближе к полукруглой деревянной арке, которая соединяла оба двора, располагались такие же длинные, глазастые, как спальни, флигеля-мастерские. Среди них — новая, совсем недавно выстроенная баня «по-белому», с просторным предбанником и чердаком, увешанным березовыми вениками; тут же конюшни, стойло для коров с сеновалом, погреб, амбары и другие постройки.

О, как на всю жизнь запомнились Николаю эти оба двора, обнесенные высоким частоколом, засыпанные мелкой, утрамбованной галькой.

В детстве много раз бывал Николай в сиротском доме. Приезжал или с Анастасией Никитичной или с Митрофаном Никитичем. И казалось ему потом, что именно здесь взяли его за сердце детские судьбы, и навсегда остался он верен им.

Как-то раз, еще в детстве, появившись в сиротском доме вместе с Анастасией Никитичной, видел он, как из флигелей нижнего двора в двухэтажный дом парами шли воспитанники: девочки в серых платьях, в черных передниках, мальчики в таких же серых штанах и рубашках, и все дети в одинаковых грубых ботинках. Ботинки покупали им на вырост, и малыши не шагали, а волочили ноги, путаясь в также сшитых на вырост одеждах.

Николушке казалось это забавным, и он заливался веселым смехом, пальцем показывая матери на еле двигающихся ребятишек. Но в эти мгновения он и завидовал им.

«Как, наверное, им весело всем вместе»,— думал он.

Воспитательница, прямая и длинная, как жердь, на лице которой застыло раздражение против детей, против своей судьбы, против всего мира, поравнявшись с Анастасией Никитичной, сказала голосом, напоминающим звук пилы:

— Дети! Поздороваемся с нашими благодетелями!

— Здравствуйте! — недружно и безразлично отозвались дети, глядя исключительно на Николушку.

Он покраснел. Ему стало почему-то стыдно. По молодости лет в любопытных взглядах сирот, что постарше, он не заметил неприязни и зависти. Это он вспоминал потом, когда стал взрослым.

Малыш, стриженный наголо, точно его только что взяли из больницы, с покрасневшей кожей под мокрым носом, восторженно разглядывал мальчика-благодетеля, его длинные рас-

клешенные брючки, белую блузу с синим матросским воротником и манжетами, бескозырку с лентами, спускающимися на спину.

Малыш загляделся, упал и принялся громко реветь, нарушив торжественность встречи воспитанников с благодетелями.

Воспитательнице удалось, наконец, сорвать раздражение. Она грубо схватила ребенка, поставила его на ноги, тряхнув так, что тот лязгнул зубами. Он перестал реветь, и только нестерпимый страх стоял в его глазах.

В душной столовой, наполненной запахами пареной капусты, жареного лука и едким перегаром сала, дети садились за длинные столы, заставленные железными мисками, до краев налитыми жирными щами. Ели с аппетитом, торопливо, чавкали и шумно прихлебывали, обжигаясь и дуя на деревянные ложки.

Стоя в дверях столовой рядом с матерью и начальницей приюта, Николушка смотрел на ребят, и ему тоже захотелось сесть рядом с ними и похлебать щей из железной миски.

— Я тоже люблю щи. И люблю есть деревянными ложками,— сказал Николушка начальнице.

— Вот приедем домой и станем обедать. Не след тебе садиться рядом с подкидышами.

Но начальница рассудила иначе:

— А почему бы мальчику не попробовать обед, которым кормят сирот? Да и посидеть с ними не грех. Дети как дети.

— Не след, не след...— сердито повторила Анастасия Никитична.

Но Николушка, почувствовав поддержку, знал, как легко в таких случаях настоять на своем.

— Я есть хочу, маманя,— заныл он, собираясь пустить слезу.

— Ну, ладно уж,— сдалась Анастасия Никитична, махнув рукой.

Николушку тотчас же посадили за стол между двумя стрижеными мальчишками года на два постарше его. Один из них даже есть перестал — с таким интересом разглядывал Николушку, наклонившись над миской и стреляя хитрыми узкими глазками в его сторону. А другой, унылый, чем-то неуловимым напоминающий нахохлившуюся птицу, даже не взглянул на «благодетеля».

Щи показались Николушке необыкновенно вкусными. Он съел все, что ему дали, и так же, как его соседи, вылизал миску.

Сироты были довольны, что их «благодетелю» понравился обед.

— Теперь пойдете на двор играть, да? — спросил Николушка разглядывающего его мальчика, так же, как тот, обтирая ладонью губы.

— Пошто играть? — удивился тот.— Работать пойдем в мастерскую.

— В мастерскую? Работать? — Николушка задохнулся от восторга и с уважением поглядел на мальчика.

Он подбежал к Анастасии Никитичне:

— Маманя! Пойдем в мастерскую. Поглядим, как парнишки работают.

Он хотел прибегнуть к удачно использованному приему — сказать начальнице, что он тоже любит работать в мастерской, но вовремя сообразил, что не умеет ничего делать.

Начальница сама догадалась о желании мальчика и, пока Анастасия Никитична беседовала со счетоводом, взяла Николушку за руку и повела в нижний двор через арку к длинному флигелю. И хоть мал был тогда Николушка, а отметил по-своему, по-детски, что начальница не выделяла его из своих подопечных детей, как другие взрослые. Взяла за руку и повела, как повела бы любого сироту. Он хотел было поершиться, высвободить руку, показать свою исключительность, но покорился, притих.

— Вот, Николушка, ты уже видел, где кушают дети. А в этом доме они спят,— показала она на флигель, мимо которого вела мальчика,— у каждого своя кроватка. И каждый ее сам убирает. Даже малыши умеют. А ты сам прибираешь свою кроватку?

Николушка покраснел и соврал:

— Сам.

— Ну, молодец. Всегда прибирай сам,— похвалила начальница.— Наши дети все сами делают. Все умеют. Ведь правда хорошо все уметь?

— Правда,— подумав, ответил Николушка, тогда еще не догадываясь, что с этой минуты желание уметь делать все самому навсегда запало в его душу.

— А они все сироты? — спросил он начальницу, стараясь шагать так же широко, как она.

— Все. Нет у них ни отца, ни матери. Некому их пожалеть. Некому приласкать.

Николушка старался вникнуть в понятие — жалость и ласка. И почему-то подумал в этот момент не о матери, а о нянюшке Феклуше.

— Сирот всегда жалеть нужно,— продолжала начальница.

— А то бог накажет,— подтвердил Николушка тоном Митрофана Никитича.

Начальница улыбнулась и ласково потрепала его по плечу.

С того дня прошло много лет. Давно уже не было в сиротском доме той начальницы. Николай так никогда и не узнал ее имени, но, посещая сиротский дом, всегда вспоминал ее. В его воображении вставала высокая, красивая женщина. И как все высокие и полногрудые женщины, она ходила слегка наклоняясь вперед, словно пытаясь скрадывать и рост и полноту груди. У нее были темные, вьющиеся волосы, сзади заплетенные в небольшую косу, свернутую и пришпиленную на затылке. Ласково глядели ее круглые, в густых ресницах, добрые глаза, и выдвинутая полная нижняя губа ее тоже была удивительно доброй и располагающей.

Уже будучи взрослым, вспоминая эту женщину, Николай думал о том, сколько добра и заботы отдавала она несчастным сиротам. Кто она? Что привело в сиротский дом Саратовкина эту женщину с врожденным даром педагога?

Начальница, не выпуская Николушкиной руки, поднялась с ним на ступени крыльца. Уже в дверях мастерской мальчика поразила тишина. Он представлял себе эту мастерскую наподобие дворовой мастерской Саратовкиных, очень шумной и веселой. У верстаков — мягкие вороха душистых, причудливо закрученных стружек, во всех концах поют рубанки, постукивают молотки.

Вероятно, все так и было бы, если б в этот момент юные мастера не покинули своих рабочих мест и не собрались бы в дальнем конце комнаты.

Перешагнув порог, начальница и даже Николушка поняли, что здесь что-то случилось.

Взвизгнувшая в тишине дверь заставила всех повернуть головы, и при виде начальницы дети расступились, пропуская ее и Николушку в середину живого кольца, которое сразу же сомкнулось. В этом кольце, понурив бритую голову, стоял мальчик лет двенадцати. Стоял в независимой позе — сцепив руки за спиной и выдвинув вперед ногу. Правда, голова его была опущена, но казалось, он понурил голову не из страха или стыда за свою провинность, а, наоборот, упрямо, с сознанием своей независимости и правоты.

Около мальчика стоял мастер. Лицо его было красным от гнева, глаза возбужденно блестели, в приподнятой руке он держал книгу, так держал, что сразу было понятно: это — улика.

Мастер сердито стал объяснять начальнице, что виновный

не раз уже прятался в кладовой и читал там неизвестно откуда взятые книги, вместо того чтобы работать. А товарищи покрывают его, обманывают, будто бы он захворал.

Николушке стало жаль мальчика. Он также не раз обманывал мать: отказывался ехать с ней в магазин или в гости, прикидываясь больным, а дождавшись ее отъезда, бежал в людскую послушать сказки нянюшки Феклуши. Николушка боялся, что мальчику сейчас крепко попадет от начальницы.

Но начальница, не повышая голоса, обратилась к ребятам:

— А почему вы, дети, обманывали Ивана Ивановича? Вам-то в этом какой прок?

Дети молчали.

— Ну, вот ты скажи,— кивнула она круглолицему мальчишке со смышлеными глазами, ямочками на щеках и смешливым ртом.

Мальчишка, казалось, только и ждал повода посмеяться и с трудом сохранял серьезность.

— А он потом нам пересказывает, что в книге прописано. Интересно — страсть! — выпалил тот, и товарищи одобрительно загудели.

— Понятно. Ну, а теперь работайте,— сказала начальница.— А ты,— обратилась она к виновному,— после работы ко мне зайдешь. Поговорим.

И мастерская стала обычной мастерской. Ребята заняли свои места. Заговорили рубанки. Зашуршала стружка. Николушка с завистью смотрел на детей, а те, понимая его взгляды, старались изо всех сил. Только тот, из-за кого произошло недоразумение, работал вяло, без желания.

«Ему не работать, а читать охота»,— смекнул Николушка.

Анастасия Никитична собралась уезжать. Прощаясь с ней, начальница сказала:

— Мальчик тут у нас один есть. Учить бы его надо. К наукам необыкновенно способный.

— Что же, я еще и в гимназиях должна учить подкидышей? — Анастасия Никитична пожала плечами, недовольным взглядом окидывая начальницу.— Хватит того, что кормлю, в мастерских обучаю. Учим читать, писать, считать. Молитвам учим. Что-то вы через край хватили, моя милая!

— Но...— не сдавалась начальница,— мальчик не таков, как все... Может, Ломоносов из него выйдет.

— Какой такой Лононосов? Не знаю, не знаю...— совсем рассвирепела Анастасия Никитична от непонятных слов начальницы.— Три класса церковноприходской кончил — и хва-

тит. Вот до тринадцати лет додержим в сиротском, а там пущай на прииски определяется.

— Маманя, а кто такой Ломоносов? — спросил Николушка, когда они тряслись в коляске по изрытым дождями, немощеным улицам, направляясь к дому.

— Не знаю никаких Лононосовых,— отрезала Анастасия Никитична.

За ужином она рассказывала брату о посещении сиротского дома. Николушка сидел рядом с дядей и, выждав перерыва в беседе, спросил:

— Дядя Митроша, а кто такой Ломоносов?

Но дядя тоже не знал.

О Ломоносове Николай услышал впервые только через два года, на уроке в гимназии.

Все, что рассказал учитель о деревенском мальчишке, который пешком пришел в Москву, обуреваемый жаждой знания, и потом стал великим ученым, произвело на Николая неотразимое впечатление. Он вспомнил бритого подкидыша, который стоял в независимой позе, окруженный товарищами.

Николай теперь был уверен, что это будущий Ломоносов, и загорелся желанием помочь мальчику.

После уроков он шел по улице следом за учителем, не решаясь догнать его и заговорить. Учитель давно заметил мальчика и, перед тем как свернуть в переулок, обернулся:

— Ты что, Саратовкин?

Николушка потупился и молчал.

— Ну, смелее,— улыбнулся учитель и, обняв мальчика за плечи, повел рядом с собой.

Под ногами чавкала осенняя грязь. Моросил холодный дождь. Николай заметил, что левый ботинок учителя был залатан. «Значит, небогато живет Василий Мартынович»,— мелькнула мысль.

Волнуясь и путая слова, он рассказал о мальчике из сиротского дома, о том, что мечтает помочь ему, а как — не знает.

— Ты вот что, Саратовкин, побывай в сиротском доме, постарайся поговорить с этим мальчиком, узнай его фамилию, имя. А потом подумаем, как быть дальше.

Николай был счастлив оттого, что учитель не отмахнулся от него, как это сделали когда-то мать и дядя.

В эту ночь он долго не мог уснуть. И назавтра, сразу после занятий, не заходя домой, отправился в сиротский дом.

Ему пришлось сначала стучать кулаком, потом до боли бить ногой в калитку так, что наверху содрогались деревянные пету-

хи, а во дворе захлебывались лаем псы, бегающие на цепях вдоль проволок.

Наконец загремел засов, и появился пьяный сторож. Вместо ноги у него была деревяшка. Он узнал Николая, снял картуз, поклонился в пояс и, потеряв равновесие, чуть не упал, хватаясь за косяк калитки.

— Мне начальницу бы...— робко сказал Николай.

— Кого хош, барин мой распрекрасный, кого хош из-под земли достану,— закрывая калитку, приговаривал сторож и ковылял рядом с мальчиком к каменному дому.

— Да вот она и сама тут как тут. Она завсегда тут как тут, особливо ежели не нужно.

С крыльца спустилась знакомая Николаю прямая и длинная, как жердь, воспитательница, весь облик которой выражал крайнее раздражение, готовое сорваться в любой момент на каждом.

«Она была всегда воспитательницей. Почему же сторож называет ее начальницей? — подумал Николай.— Видно, пьян так, что не разбирается».

— Тебе что, мальчик? — строго спросила женщина скрипучим голосом.

— Сей отпрыск — Саратовкин-с, младший-с,— почти пропел над ухом Николая сторож, стараясь говорить значительно.

— А... благодетель сиротского дома... младший Саратовкин,— меняя тон, сказала женщина, пытаясь изобразить улыбку и мучительно припоминая имя молодого барина.

— Мне начальницу нужно,— сказал Николай, с неприязнью посматривая на нее.

— Так я же начальница, уже скоро год.

Николаю стало неприятно и грустно от ее слов. «Какая она начальница? — мелькнуло в мыслях.— Она злая и не любит детей».

— У вас тут мальчик есть,— сказал он,— такой бритый, в столярной мастерской работает. Он в кладовку все прячется и книжки читает, а потом парнишкам про все, что прочитал, рассказывает...

Начальница изумленно смотрела на Николая, не понимая, о чем тот говорит и что ему нужно.

— ...Та начальница, которая прежде была, учить его хотела. Говорила, что он как Ломоносов будет... ученый...

— А! — догадалась начальница.— Это вы про Федора Веретенникова? Так он из сиротского дома сбежал полгода назад. Негодник. Неблагодарный.

— А где он теперь?

— Не знаю, не знаю. Теперь нам дела до него нет.

Николай попрощался с начальницей. Когда пьяный сторож, изъясняясь в любви молодому барину и браня начальницу отборными словами, закрыл за ним гремящий засов калитки, он остановился, задумавшись над судьбой Федора Веретенникова. Где он теперь? Как найти его в большом городе?

Уверенность в том, что из Федора Веретенникова обязательно будет такой же великий ученый, как Ломоносов, не покидала Николая, и ему хотелось принять самое горячее участие в его судьбе. Может, отчасти даже потому, что когда-нибудь какой-то учитель, рассказывая гимназистам о Веретенникове, помянет и Саратовкина, скажет, что, если бы не он, не было бы в России великого ученого.

На другой день Николай дождался учителя, когда тот со стопкой тетрадей в руках и с классным журналом под мышкой вышел из класса.

— Василий Мартынович! — сказал Николай, шагая рядом с учителем.— Этот мальчик убежал из сиротского дома. И неизвестно, где он. А зовут его Федором Веретенниковым.

— Федором Веретенниковым? — с удивлением переспросил учитель.— Тогда не тревожься. Федора Веретенникова я готовлю в гимназию. Способности у него действительно редкие и стремление к наукам отменное. Думаю, через годик определим его в гимназию на казенный счет.

Николай был так же удивлен, как и Василий Мартынович. Но спросить учителя о том, как все это произошло и на какие средства живет Федор Веретенников, он не осмелился.

12

Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Он нарочно выбрал сумерки, чтобы — не дай бог! — не нарваться на своих учеников. Засмеют ведь!

Вышел он из города в тот удивительный сумеречный час, когда ослепительно белый снег становится синим и какая-то особая предвечерняя тишина и покой царят на пустынных, укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, изможденно раскинувших свои перекрестки. Он шел по четкой лыжне с краю тракта.

Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет... Вон там, за горой, Белый ключ. Сюда мальчишкой он ходил за грибами, а чуть налево, в черемушнике, скачет по камням быстрая горная речушка. Она холодна как лед и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду.

От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг. Последний раз был он здесь в сорок первом году. Только летом. На грузовиках, в военном снаряжении, следовал он со своими будущими однополчанами вслед за техникой, идущей на запад вот по этим самым дорогам, только не заснеженным, а изрытым тяжелыми гусеницами.

Он постарался отогнать воспоминания и устало двинулся вперед.

Но знакомая ложбина опять остановила его воспоминанием об играх в «сыщиков и разбойников», а подошва горы напомнила о свидании с черноглазой, хрупкой одноклассницей.

Итак, на каждом шагу возникало давно прошедшее, до тех пор, пока не поднялся перед его глазами заснеженный подлесок, совсем молодой, с которым не могло быть связано его прошлое, и лыжня, изогнувшись, повела его в глубину.

Вот зачернела старая банька в белом, пуховом шлеме, уткнувшаяся боками в синие сугробы.

— Да, романтично! — усмехнулся Павел Нилович, въезжая на утоптанную площадку, и наклонился, чтобы снять лыжи. Но в это время странный звук заставил его остановиться и прислушаться.

В баньке раздался треск, словно там что-то разрубили топором. Затем на улице послышался мальчишеский голос:

— На педсовете Грозному за эту баню так наложили, что он и не пикнет!

Павел Нилович осторожно попятился, спрятался за углом избушки.

Он видел, как почти мимо него прошли двое. Одного он узнал. Мальчишки надели лыжи, брошенные около кустов, и, легко взмахнув палками, исчезли в куржаке и в сумерках.

«Что бы это значило?» — подумал Павел Нилович. Он снял лыжи, воткнул около них палки, обошел вокруг бани. Дверь была распахнута, и возле нее валялась сорванная и погнутая железная вывеска, любовно написанная масляной краской: «Изба раздумий». В бане лежал на боку искалеченный журнальный столик, лавки у стен были изрезаны, но не поломаны. Видимо, мальчишки не успели или не смогли закончить свое черное дело.

Не сумели они испортить и железную печь — только унесли куда-то конфорки да выбили из потолка трубу. Подсвечников, о которых так много слышал Павел Нилович, тоже не было.

Директор стоял, смотрел и загорался гневом.

Поздно вечером он вернулся в школу. В вестибюле Даша протирала пол.

— Что это вы, Павел Нилович, ночевать, что ли, в школу пришли? — недовольно моргая синими глазами и подтирая за директором грязные следы, сказала она.

— Никого нет? — спросил Павел Нилович.

— Ну, как же! Николай Михайлович с учениками занимается.

— Как занимается?

— Не знаю как, только слыхала, долбит что-то из истории.

Павел Нилович ощупью прошел по темному коридору. Он поднялся выше этажом и прежде увидал полосу света, лежащую на темном полу и стене коридора, а потом услышал голоса.

Николай Михайлович занимался с отстающими десятиклассниками.

Павел Нилович легонько стукнул в приоткрытую дверь.

— Разрешите?

Девочка и мальчик испуганно вскочили.

Появление директора в такое позднее время означало ЧП.

— Ну все, друзья. По домам,— сказал Николай Михайлович.

Ученики поспешно покинули класс. А директор присел на парту.

— Почему сам-то? Нельзя разве сильного ученика прикрепить? — сказал он, кивнув в сторону коридора, где слышались удаляющиеся шаги.

— В данном случае нельзя. Не поняли основного. В головах такая каша, что еле-еле сам разобрался.—И, помолчав, спросил: — Что-нибудь случилось?

Павел Нилович рассказал о том, что произошло несколько часов тому назад в «Избе раздумий».

13

Сибирь! Сибирь! Только потому не стремятся зимой на твои просторы люди со всего земного шара, что земляки твои скупы на слово, особенно на похвалу. И еще потому, что не довелось великим поэтам видеть, а затем воспевать твои ослепительные искрящиеся снега, голубое, как в Венеции, небо и солнце, месяцами сияющее над городами, селами и полями твоими!

Этот воскресный день был именно таким ослепительным, искрящимся, прекрасным, несмотря на тридцать градусов, которые не помешали восьмому «А» в полном составе явиться в «Избу раздумий» посмотреть, что сделали с ней негодяи из восьмого «Б».

На площадке возле бани ребята разожгли костер. Возмущение и гнев, охватившие их при виде разрушений, все же не смогли убить молодой радости, предчувствия чего-

то неожиданно прекрасного, убеждения, что все плохое пройдет безвозвратно, что мир держится радостью и добром.

Наташка-Коврижка явилась к «Избе раздумий» с вспухшим носом и синяком под глазом. Все уже знали, что она подралась с Борисом Королевым и что у него на физиономии осталось такое же украшение, только еще с добавлением царапин на лбу и на щеках от Наташкиных ногтей. По этому поводу Наташку качали у костра, чуть не уронив в огонь.

Вчера после уроков, на общем комсомольском собрании, стоял вопрос о разгроме «Избы раздумий».

— Может быть, виновные признаются сами? — сказал секретарь комсомольского комитета школы Циношвили — невысокий подросток со жгуче-черной головой и такими же жгуче-черными глазами.— Этим уменьшится вина.

В зале поднялся шум. Но виновные не обнаружились.

— Ну, что ж,— торжественно сказал секретарь, предвкушая тот фурор, который сейчас он произведет.— Борис Королев! Ученик восьмого «Б»! Поднимитесь на сцену! — почти выкрикнул он.

Рыжий толстенький парень так покраснел, что школьники потом язвили: «Глазам больно было глядеть на него, до того он воспламенился».

— Зачем я пойду? — растерянно сказал мальчишка.— Я ни в чем не виноват!

— Он не виноват! — шумно поддержали его со всех сторон одноклассники.

— Он виноват! — грозно произнес секретарь.— И пусть он назовет сообщников!

Борис Королев, чувствуя поддержку класса, приободрился:

— Что, у тебя есть свидетели? Ишь разошелся!

— Есть свидетель! — с нескрываемым торжеством сказал секретарь. И обратился к Ковригиной — члену комитета комсомола, сидящей в президиуме. Он назвал ее на «вы»: — Пригласите свидетеля.

Наташку как волной смыло — так мгновенно исчезла она за дверью.

В затаивший дыхание зал вошел Павел Нилович.

Все ахнули.

Он поднялся на сцену сердитый, колючий и рассказал все то, что случайно увидел в лесу.

Перед лицом такого свидетеля Борис Королев вынужден был назвать сообщника. Им оказался, к всеобщему изумлению, Ваня Семенов — отличник, не получивший ни одного замечания. А вдохновителем был весь восьмой «Б», завидующий «ашникам» и считающий, что они незаслуженно заняли в школе какое-то исключительное положение.

Все решали сами ребята.

Королеву и Семенову дали выговор. Восьмой «Б» пристыдили и поручили редколлегии написать в стенной газете разносную статью об их черной зависти.

А учителям было над чем подумать и поговорить.

Наталья после собрания спряталась в вестибюле, дождалась, когда вывалится из школы шумная толпа «бешников». На улице она терпеливо пережидала, когда они разойдутся, и, держась на небольшом расстоянии, пошла по другой стороне за Королевым и Семеновым.

Когда Семенов, потоптавшись возле дома, повернул зачем-то в переулок, а Королев торкнулся в закрытую калитку, она перебежала дорогу и окликнула его:

— Борька, постой!

Тот остановился, всматриваясь в темноту.

— Ну вот,—задыхаясь, сказала Наталья,—на собрании тебе дали за избу. А я сейчас дам тебе за Николая Михайловича.

И, по-мальчишески размахнувшись, она стукнула кулаком в мягкую щеку мальчишки.

Тот изумленно отскочил, но мгновенно сориентировался и дал сдачи так, что Наталья охнула, схватилась за лицо и еле удержалась на ногах. Тогда она сбросила рукавички, прибегла к излюбленному девчоночьему приему — вцепилась ногтями в лицо противника.

На том они и расстались.

А тот, за кого мстила Наталья, вернувшись в это время домой с комсомольского собрания, раздумчиво ходил взад и вперед по своей небольшой комнатушке.

Для него было ясно теперь, в чем допустил он досадный педагогический промах.

В школе нет места привилегиям. «Изба раздумий» должна быть доступной для всех. Работать в кружке «разведчиков» и в архиве должны все желающие, а не избранные.

14

Николай Михайлович Грозный вытер ноги о затертый половик и со странным чувством переступил порог школы. Ему казалось, что впервые он в таких деталях увидел этот дом.

Он шел и думал, что вряд ли жизнь его была бы полноценной, если бы он ежедневно не переступал этого порога.

Он остановился в вестибюле. Точно впервые, он внимательно оглядел просторную, неогороженную раздевалку с длинными рядами вешалок, на большом расстоянии перпендикулярно поставленных к стене. «Просторно и удобно»,— подумал он. Пальто висели на плечиках, изготовленных ребятами в столярной мастерской.

На видном месте плакат, сделанный руками ребят. Яркая пропись причудливого шрифта гласит:

«Модные прически для мальчиков».

Нарисованы четыре мальчишеских головы с коротко остриженными волосами. Одна с пробором на правом боку, с высоко подстриженными волосами на затылке. У другого волнистые пряди волос зачесаны наверх и сзади обрезаны, прямо как у девочек. У третьего голова круглая, «под ежик». Четвертый мальчишка с небольшой челкой.

Внизу плаката изображен длинноволосый парень, перечеркнутый красной краской. И совсем низко подпись:

Парикмахерские:
ул. Ленина, 3,
проспект Володарского, 39,
переулок Крылова, 32.

Николай Михайлович усмехнулся: «Хорошо!» Точно первый раз увидел и задумался над этим плакатом.

«Однако не надо ли и мне прогуляться по указанному адресу?» — сказал он сам себе в стекло, которое отразило его длинные волосы.

А вот стенд. Он гласит:

ЭТИМИ УЧЕНИКАМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА.

Здесь фотографии учеников разных лет. Под каждым снимком имя, фамилия, профессия и год окончания школы.

Николай Михайлович остановил взгляд на портрете вих-

растого мальчишки. Теперь это известный миру академик. Девочка со светлыми мечтательными глазами — поэтесса. А тот, круглоглазый, с белозубой, безудержно веселой улыбкой, погиб, защищая Родину от фашистов. Погиб в восемнадцать лет!

Был и его, Николая Михайловича, портрет на этом стенде, но он давно собственноручно снял его по педагогическим соображениям.

Николай Михайлович поднимался по широкой лестнице, середина которой была выкрашена красной краской с желтой каймой по краям и напоминала лежащий на ступенях ковер.

Рука учителя скользила по перилам, и ему вспоминалось, как он, лопоухий, маленький мальчик, катался по этим самым перилам. А потом на выпускном вечере он стоял вот здесь же с одноклассницей Симочкой. На ее черных как смоль волосах повисла завитушка серпантина. А на груди скромного белого платьица была приколота бумажка с номером «13». Шла игра в почту. И так просто было Николаю написать ей тогда, что она яркой звездой осветила его сиротливую жизнь воспитанника детского дома, что, кроме нее, у него никого нет на свете.

Но он не осмелился тогда написать этих слов, не осмелился произнести их здесь, на ступеньках лестницы. Теперь иногда он встречает Симочку на улице. Она краснеет при встрече с ним. Они говорят друг другу незначительные фразы и торопливо уходят каждый по своим делам. Он утешает себя: а может быть, оттого и романтично так это чувство, что дороги их разошлись. Не было ни брака, ни детей. Ни одной даже мимолетной ласки.

С горькой усмешкой он мысленно повторяет строки:

Среди миров, в созвездии светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
Но потому, что я томлюсь с другими...

Николай Михайлович поднялся на четвертый этаж. Хотел было миновать исторический кабинет, но достал из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Он любил эту комнату. Все тут сделано руками учеников.

Стены кабинета завешаны фотографиями, вырезками из газет, картами. А вот на столе лежат совсем новые материа-

лы об участниках революции в родном городе. Молодцы ребята! Но этим он займется потом.

Николай Михайлович закрыл кабинет и поднялся еще на один этаж. Он миновал безлюдный коридор и вошел в библиотеку.

Круглолицая, яркощекая блондинка Оля, бывшая ученица Грозного, молча и радостно закивала в знак приветствия. И в ее потеплевших зеленоватых глазах и белозубой улыбке он ощутил искреннее расположение к себе, которое он повседневно встречал почти у всех учеников своих. «Какое же это счастье! — подумал он. Но подумал с какой-то странной грустью.— Да что это я сегодня! Точно собрался прощаться со школой!»

— Олечка, я пороюсь тут немного,—вполголоса сказал он, направляясь к полкам.

Оля снова молча и радостно кивнула. Она старалась не нарушать тишину своего «храма» даже тогда, когда в «храме» никого не было.

Николай Михайлович остановился у приоткрытой двери читального зала. Зал был пуст. Только в глубине зала увлеченно читал книгу семиклассник. Да у самой двери, за столом, сидели двое — девочка с толстой русой косой и учительница Ольга Николаевна. Она была еще сравнительно молодая, с хорошим, умным лицом. Во всем ее облике: и в тихом голосе, и в медленных движениях, и в карих глазах, всегда внимательно глядящих в глаза собеседнику,— был удивительный покой, покой сосредоточенный, раздумчивый.

Николай Михайлович взял с полки новую книгу, стал перелистывать страницы, но внимание его привлек негромкий разговор учительницы с ученицей. Это был скорее спор, и поэтому Николай Михайлович отнесся к нему с интересом. Ведь обычно учителя не спорят со своими учениками. Они вещают, а те слушают и запоминают.

Речь шла о Лизе из «Дворянского гнезда» Тургенева.

— Во-первых, как можно главным в жизни считать любовь? — пожимала плечами девочка.

— Зоя! А что же могло быть главным у барышни, получившей воспитание того времени? Их готовили к тому, чтобы выйти замуж, быть матерью, женой и хозяйкой.

— А потом уйти в монастырь из-за таких пустяков! — продолжала возмущаться Зоя.— Она просто дурочка, эта Лиза!

— Зоя, нельзя так непродуманно делать выводы. Представь себя в той обстановке. Это же не наш век!

— Но в тот век девушка из дворянской семьи убежала на фронт воевать за родину, выдала себя за мужчину! — не сдавалась Зоя.— А декабристки, оставляя детей, шли в Сибирь за своими мужьями! Нет, Ольга Николаевна, меня эта глупая Лиза раздражает. Ставьте мне двойку, как поставила Нина Осиповна двойку Егоровой за то, что та раскритиковала Катерину из «Грозы» Островского. Кстати, я с Егоровой тоже полностью согласна.

— Двойку я тебе не поставлю. Каждый волен иметь свою точку зрения,— задумчиво сказала Ольга Николаевна,— но я убеждена: ты подрастешь, придет жизненный опыт, и ты поймешь, что была неправа.

— Не знаю,— упрямо сказала Зоя.— Ну чего, например, переполошились так Лизины родные, когда узнали, что та ушла в монастырь? Что тут трагического? Ну, пожила в монастыре, потом снова уйдет домой.

— Девочка моя! — с грустной настойчивостью сказала учительница.— Пойми: уйти-то из монастыря нельзя. Если девушка постриглась в монахини, путь в мир для нее закрыт.

— А мне Нина Осиповна двойку поставила за то, что я про Дон-Кихота сказал, что он просто чокнутый,— вдруг подал голос мальчик из глубины зала.

Николай Михайлович усмехнулся, попытался было углубиться в книгу, но сосредоточиться уже не мог. Другие мысли и образы теснились в его голове.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

МОНАХИНЯ ЕВФРОСИНЬЯ

Годы шли. Николай мужал. Сдавала Анастасия Никитична. Болезнь сердца сделала ее неподвижной и тучной. И то ли мысли о близкой кончине, то ли влияние Митрофана Никитича превратили ее в религиозную фанатичку.

День и ночь в ее спальне горели лампады, висящие на золотых цепях перед образами божьей матери и Николая-угодника. В доме неслышными привидениями бродили монахини в черных одеяниях, с постными лицами и хитрыми глазами.

Наконец Анастасия Никитична совсем слегла и, решив, что смерть пришла за ней, исповедалась своему духовнику отцу Терентию и причастилась святых тайн. Но после соборования ей полегчало. Она начала было поправляться и вдруг внезапно скончалась...

Ее похоронили рядом с Михайлом Ивановичем Саратовкиным.

К приемной матери Николай никогда не испытывал сыновних чувств, а как человек была она ему далека и непонятна. Кроме того, он не мог ей простить тайну исчезновения родной матери, о которой не обмолвилась она, даже умирая. Но ему было не по-сыновьи, а по-человечески жаль Анастасию Никитичну. Ее болезнь, смерть, пышные похороны надолго вывели Николая из обычного состояния.

И все же на кладбище он заметил, что сторожка изменилась: переплеты окон и ставни покрашены в желтый цвет, с боков поставлены плахи-подпорки и встречать похоронную процессию вышла не Панкратиха, а другая женщина.

«Уехали!» — мелькнуло в мыслях Николая. Мелькнуло и забылось.

А когда гроб под вой нанятых плакальщиц на связанных полотенцах опустили в могилу и застучали по крышке тяжелые комья земли, в памяти Николая промелькнул образ Любавы, ее широко расставленные глаза, большие, лучистые, беспокойные, ее головка в уродливом капоре... Вот здесь, возле этого черного мрамора, стояла она последний раз, в бабушкином салопе и больших подшитых валенках.

Поминки были многолюдными. Гости изрядно напились и вскоре перестали, не чокаясь, тихо поднимать рюмки со словами «Да будет земля ей пухом». Кое-кого потянуло в пляс, в углу застолья слышался смех, вызванный непристойными рассказами дьячка, затем вспыхнула озорная частушка. Потом опомнились, зашикали, затянули поминальную. Николаю стало не по себе. Он вышел на крыльцо.

Был поздний вечер ранней весны, теплый, тоскливый и тихий. Он, этот тоскливый вечер, жил под аккомпанемент городского шума: приглушенно со всех сторон лаяли псы, где-то скрипели калитки и двери сеней, доносился говор, из-за угла дохнула теплом тихая девичья песня, по мостовой процокали подковы коня и проскрипели колеса телеги... А в небе, как миллионы лет назад, висела полная луна, мерцали звезды, посылая на землю спокойный, холодный свет, гордясь своей вечностью, напоминая человеку о краткости его мгновенного бытия.

Николаю почудился хриплый голос Панкратихи:

«Вы, барин, Любаву забудьте. Не пара она вам... Вы на Любаве не женитесь...» И еще он подумал, что Анастасия Никитична ни за что не позволила бы ему жениться на этой девушке.

Теперь-то препятствий нет. Он волен делать все, что захочет. Но и Любавы нет. Нет ее, удивительной, ни на кого не похожей. Как же мог он упустить ее? Как мог он жить, не встречаясь с ней? Как может он спокойно стоять здесь в этот весенний вечер? Надо искать ее. Надо искать и мать. Он непременно найдет их, и Любаву и родную мать, только тогда он обретет настоящее счастье и станет действительно богачом, обладателем величайших ценностей, далеко не всегда отпущенных судьбой человеку.

Прошло немного времени после похорон Анастасии Ники-

тичны. Николай с дядюшкой целыми днями занимались делами, которые на золотых приисках шли совсем плохо. Николай уже не первый раз заговаривал о вступлении в акционерное золотопромышленное общество. Но дядюшка отмахивался. Не хотел и слышать об этом. Он боялся всего нового.

Вечером, когда служащие, вызванные с приисков, ушли, Николай задержал собравшегося было домой Митрофана Никитича.

— Посидим, дядюшка, посумерничаем,— предложил он.

Митрофан Никитич охотно согласился переночевать у племянника. Он опустился в старинное кресло, в котором любил сидеть покойный Саратовкин.

Митрофан Никитич смолоду во многом подражал Михайлу Ивановичу. Анастасия Никитична, выйдя замуж за Саратовкина, богатым приданым приумножила капиталы мужа. Отец Митрофана Никитича в конце жизни запил и разорился. И сам Митрофан Никитич пошел в услужение к Саратовкину. Отношения у них сложились добрые. Вздорили только по поводу религии. Саратовкин был безбожником, а Митрофан Никитич до исступления верил в бога. В остальном Митрофан Никитич старался походить на Саратовкина, быть таким же деловым, даже одевался «под Саратовкина» — носил плисовые шаровары, заправленные в лаковые сапоги, длинную холщовую рубаху, перехваченную заморским пояском, лицо его украшала борода, подстриженная лопатой.

Вот и сейчас сидел он в кресле Саратовкина, одетый так же, как всегда одевался тот. Но Саратовкин был крепким, краснолицым, с насмешливыми умными глазами, резкими движениями и громким голосом. А у Митрофана Никитича в чем душа держится: ноги, руки сухие, шея, как у подростка,— пятерней обхватить можно, рубаха висит, словно на вешалке. Сам неподвижен — не шелохнется, бывало, во весь вечер, только голосом и выдает свое присутствие, да и голос-то слабый, точно шелест листьев при тихом ветре.

Николай велел принести рябиновой настойки, которую издавна мастерски делала Агафья.

Они выпили. И вдруг без всякого предисловия Николай сказал:

— Дядюшка! А ведь я с детских лет знаю, что не родной сын Саратовкиных.

Митрофан Никитич поперхнулся и долго, нарочно, чтобы оттянуть время, кашлял, закрывая рот ладонью и ненатурально содрогаясь всем телом. Он торопливо прикидывал ответ:

оправдаться незнанием глупо, подтвердить — значит взять на себя какую-то долю вины за долгий обман.

— Да, я давно смекнул, что ты истину распознал...— нашелся он и, осушив стопку настойки и хрустнув огурцом, добавил: — Родной не родной — не в том суть. Суть в том, что усыновлен и капиталы на тебя отписаны.

— Это все так...— задумчиво сказал Николай, помолчал и продолжал с нарастающим волнением: — Но у меня есть родная мать.— Голос его стал волевым, громким.— Я хочу знать, где она!

— Вот уж, Николаша, не знаю. То ведомо было только сестрице.

— Неужели вы не поинтересовались, никогда не спросили ее? — не поверил Николай.

— Интересовался, Николаша, а как же... Не раз спрашивал, да покойница, царство ей небесное,— он широко перекрестился, всем корпусом повернувшись в угол, где прежде висели иконы,— бывало, прицыкнет только: «Нишкни, не суйся не в свое дело...»

«Может, он и не обманывает, так и было»,— подумал Николай и сказал спокойнее:

— Но теперь-то, теперь-то почему мать сама не отзовется?

— Может быть, бог прибрал,— сказал Митрофан Никитич и снова перекрестился.— А то смущать покой твой не хочет,— подумав, добавил он.— Дескать, барин он теперь, живет в довольстве и пущай живет... Матеря — они самоотверженные...

Николай и сам порой думал об этом.

— Где же искать мне ее? — не замечая, произносил он вслух свои мысли.

Митрофан Никитич со вздохом пожал плечами: не знаю, мол, что и сказать.

Так и разошлись они на ночь по разным комнатам, ни о чем не договорившись.

Николай прикрутил фитиль керосиновой лампы, стоящей на столике. Потом задул ее совсем, долго вертелся на своей широкой кровати.

Он думал о том, что, если разыщет мать и Любаву, жизнь его переменится, станет другой, настоящей. А какой другой — он не представлял себе. Только та жизнь, которой он жил, его не устраивала. Дела приисков, фабрик, сиротских домов отнимали так много времени, что на учение ничего не оставалось.

Николай чувствовал себя одиноким еще с детства. С тех пор, как Васятка Второв, которому он доверил тайну, предал его,

Николай не имел друзей, несмотря на свой общительный характер. Тот давний печальный случай был уроком на всю жизнь.

Утром Николай вышел на крыльцо, проводил дядю. Пара вороных, впряженных в коляску, стояла во дворе. На козлах сидел кучер.

Спускаясь с крыльца, Митрофан Никитич остановился и, повернув к Николаю узкое, иконописное лицо, сказал:

— А ты, Николаша, поспрошал бы отца Терентия. Он завсегда был духовником Настасьи Никитичны. Может, что и подскажет.

«В самом деле,— подумал Николай,— отец Терентий знает больше чем кто-либо».

Николай повеселел и, когда вороные дружно тронули, приветливо махнул рукой вслед удаляющейся коляске.

Отец Терентий служил в Успенской церкви, которая находилась за углом от дома Саратовкиных, и Николай, не откладывая, отправился туда.

Церковь была украшением города, гордостью его жителей. Стояла она на взгорке, белоснежная, каменная, возвышалась над деревянными домами пятью золочеными куполами.

В церкви шла служба. У церковного сторожа — горбатого старика, продающего свечи, просфоры, дешевые нательные кресты и крошечные иконы,— Николай купил самую дорогую свечу, толстую, перевитую серебряной нитью.

Отец Терентий — низенький, пухлый старец — слабым тенорком читал Евангелие, читал быстро, гнусаво подпевая концы фраз, и там, где стояли точки, отрывался от книги, поднимал глаза вверх, на изображения порхающих под куполом ангелов, и сцепливал на тугом животе, украшенном большим золоченым крестом, толстые пальцы.

Народу было немного. Стоя на коленях, молились две старухи. Они истово кланялись, касаясь лбами каменных плит пола. Справа, у иконы богородицы, освещенной лампадой и горящими свечами, миловидная девушка со слезами на глазах о чем-то просила богородицу, что-то обещала ей. Сзади нее молился известный в городе купец, то и дело отвлекаясь от молитвы и строго поглядывая на оживленные лица двух малолетних сыновей. Но, несмотря на контроль, в те моменты, когда отец устремлял взгляд на икону, мальчишки успевали наградить друг друга молниеносными, отработанными тумаками.

По углам стояло еще несколько человек. Николай подошел к распятию, бездумно перекрестился, зажег свечу о другую, горящую, подержал над ее пламенем нижний конец своей свечи

и вставил в подсвечник. Перекрестился еще раз и стал ждать окончания службы.

«Помолиться бы,— думал он,— может, полегчало бы». Но он не верил ни в молитвы, ни в обряды. И порой с тайным страхом думал о том, что не верит и в бога.

И это неверие началось опять же с тех пор, когда друг предал его, не побоявшись, что давал клятву на Евангелии. А Николушка верил тогда, что, нарушив такую клятву, человек провалится в тартарары. Но клятвонарушитель не провалился.

Николай задумался и не заметил, как кончилась служба.

Он вышел и остановился на паперти. Нищие, начавшие было разбредаться кто куда, заметили барина и столпились у ступеней, протягивая руки за подаянием.

В городе было много нищих. Николай привык к ним, но сегодня эта картина впервые поразила его. Он содрогнулся при виде слепого старца с широко открытыми, немигающими голубыми глазами, такими пустыми, что было страшно от этой зияющей темной пустоты, охватывающей всю его жизнь.

У Николая сжалось сердце, когда он взглянул на пятилетнего ребенка без ноги, единственной рукой опирающегося на костыль. Он увидел безобразное, дрожащее от холода тело старухи, проглядывающее сквозь жалкие, развевающиеся на ветру лохмотья. Но в толпе были и другие — хитрые и наглые попрошайки. Они, согнувшись и подвернув ноги, притворялись горбатыми, безногими калеками. Николай опустил руку в карман. Не найдя мелочи, он протянул старухе рубль и сказал:

— На всех поделить!

Нищие окружили старуху, и это живое кольцо в странном молчании отодвинулось и скрылось за углом переулка.

А на крыльце уже стоял отец Терентий. Сторож предупредил его о приходе Саратовкина. Священник видел все, что произошло возле церкви, и сказал Николаю, которого знал с малых лет, по-стариковски ворчливо:

— Никогда так не делай. Твой рубль заберет сильный. Остальным — вот что.— И он показал кукиш.

Действительно, из-за угла доносились приглушенные крики и плач.

И вдруг Николай представил родную мать в нищенском рубище. Ему стало страшно.

Николай разволновался и тут же, на паперти, сказал отцу Терентию о цели своего прихода.

Тот спокойно выслушал, равнодушно поглядывая маленьки-

ми смышлеными глазками. Подняв кверху указательный палец, сказал, не сказал даже, а изрек:

— Рабе божьей Анастасии перед кончиной я отпустил все грехи ее, сотворенные при жизни. Ты же должен знать, что священник поставлен беречь тайну исповеди. Не вводи меня во искушение, Николай Михайлович. Уговоры твои меня не переубедят, богатство твое не соблазнит.

Николай попробовал доказать отцу Терентию, что тот поступает не по-божьи: должен же сын найти родную мать и обеспечить старость ее. Но священник упрямо повторял: «Не искушай». И только одно он сказал в утешение Николаю: «Мать твоя жива и в помощи не нуждается». Но это не успокоило, а только сильнее разожгло желание найти ее.

Николай с детских лет хорошо относился к отцу Терентию, но теперь почувствовал к нему острую неприязнь и, холодно попрощавшись, спустился с паперти.

На колокольне еще звонили. Подростки под руководством немого звонаря Федьки осваивали мудреную технику звонарного дела: дергать руками веревки, привязанные к языкам маленьких звонких колоколов, а ногами в то же время двигать плахи, приводящие в движение языки больших колоколов, как бы аккомпанирующих маленьким густыми, гулкими звуками. Несколько лет назад Николай тоже взбирался на колокольню, учился звонить. И теперь ему стало еще более грустно от невозвратимости прожитых лет.

За углом все еще слышались крики и плач нищих, сцепившихся из-за щедрого подаяния барина. Надо было бы пойти туда, вступиться за справедливость. Но ему не хотелось. На душе было тяжко. Все люди казались недостойными, мерзкими, не стоящими внимания.

Он шел по улице широкими, быстрыми шагами, опустив руки в карманы пальто, кляня нищих и отца Терентия. Но вдруг мысли его стали принимать другой оборот. Николай вспомнил многочисленных священников и монахинь, которые в последние годы жизни Анастасии Никитичны постоянно сновали в доме Саратовкиных. Он отлично знал, что люди эти корыстны и неискренни. Отец Терентий был другим. Он свято верил в свое назначение, он прямо сказал Николаю, что и деньгами его не соблазнить. Нет, он совсем не недостойный, не мерзкий, как показалось это Николаю. Отца Терентия можно было отнести к той же группе людей, к которой Николай относил и учителя Василия Мартыновича. Всех, с кем ему приходилось встречаться, Николай делил на две, к сожалению, очень неравные части.

...Прошло много времени. И однажды осенними сумерками в дом Саратовкиных пришел отец Терентий. Он вошел в гостиную, шурша подолом рясы, так же, как дядюшка, привычно повернулся в угол, где прежде висели иконы и горели лампады, занес было ко лбу три пальца, сжатые щепотью, чтобы осенить себя крестным знамением, но увидел в углу вместо икон шкаф с книгами.

Отец Терентий пожурил Николая. Однако упреки его были не злобные, а высказанные скорее по привычке.

Расправив рясу, он сел на стул, пододвинувшись вместе с ним к столу. Николай поместился напротив, недоумевая, зачем он понадобился священнику.

— Долго обдумывал я твое желание, Николушка, знать, где находится твоя родная мать. По законам церкви вроде бы я и не имел права открывать признание исповедуемой рабы божьей Анастасии, а сердцем чую, что правда-то на твоей стороне. Все же мать родная! То так решал, то этак. И поехал к ней, к твоей матери. Недалече она от тебя жила, Николушка, недалече по земным верстам и в то же время далеко, ой как далеко по божьей воле. Ушла она из мира, когда ты еще мальчонкой был. Монахиней стала. Имя приняла — Евфросинья.

Николай в волнении встал, опираясь о стол дрожащими руками.

— В Богоявленном монастыре? — спросил он.

— В нем,— подтвердил отец Терентий.— Но, сын мой, преставилась монахиня Евфросинья. Два месяца, как преставилась. Царствие ей небесное! — Отец Терентий тут же встал и размашисто перекрестился.

Николай медленно опустился на стул.

Неслышно ступая, в комнату вошел старый слуга и осторожно зажег большую керосиновую лампу. Абажур в форме распустившегося тюльпана стал розовым, яркий круг обозначился на потолке. Свет развеял тени по углам комнаты. Осветил лица Николая и отца Терентия.

Николай представил себе мать. Она возникла в его воображении, как живая — в голубом платке, сползающем с пышных светлых волос, с улыбкой устремив на сына ласковые карие глаза. И он подумал в эти минуты, что все светлое, что было в детстве, связано с ней, только с ней: и ласка, и заботы, и незабываемые сказки ее... Она дала ему все, что могла дать мать.

— Анастасия Никитична насильно отправила мою мать в монастырь? — спросил Николай.

— Мне Анастасия Никитична сказывала, что ее желание и желание твоей родной матери было единым, так что вроде бы и не насильно постриглась она в монахини. А и другого ничего не оставалось ей, Николушка. Когда лошадь-то тебя сбила во время пожара и принесли тебя домой без памяти, в крови, маменька-то твоя родная в горе себя выдала перед всеми. При сыне ее больше Настасья Никитична не оставила бы, а одной по белу свету мыкаться тоже не радость. Вот она из мира-то и ушла.

— Ушла из мира,— шепотом повторил Николай фразу, которая с детских лет пугала его. Он представил себе монахинь — в черном, со свечами в руках, но свою мать, какой запечатлелась она в его памяти — веселой, улыбающейся, румяной,— он не мог представить в монашеском одеянии. В последний раз он видел ее во время пожара.

Но он не знал и потом никогда не узнал, что незадолго до смерти матери он еще раз встречался с нею. Было это так.

Много лет провела в монастыре монахиня Евфросинья. Но, как ни пыталась забыться в молитвах, помнила о своем Николушке. С помощью веры простила она все барыне, примирилась с тюрьмой-монастырем. А убить в себе материнское чувство не смогла.

Как ни высоки монастырские стены, а молва и через них проходит. Узнала монахиня Евфросинья о смерти Анастасии Никитичны. Забродили в голове греховные мысли. Теперь некому было стоять между нею и сыном. Повидать бы его, рассказать, кто она. Уйти бы из этих ненавистных стен.

В то же время думалось и другое: а простит ли сын матери, что подбросила его? Не сумела сама вырастить? Поверит ли он ей? Ведь у нее нет никаких доказательств. И, наконец, самой мучительной была мысль о том, что своим появлением, своей правдой разбередит она сердце сына. Ведь он воспитан как барин, и нелегко ему будет примириться с мыслью, что он не лучше тех, кто живет у него в людской.

Потеряла сон монахиня Евфросинья. Все свободное время на коленях стояла перед иконой, неистово молилась, отвешивала поклоны, прикладываясь лбом к холодным плитам храма, просила святую заступницу отогнать греховные мысли.

Но случилось неожиданное. Новая настоятельница монастыря мать Александра однажды позвала монахиню Евфросинью.

— Знаешь ли ты, сестра Евфросинья, город? Не заблудишься, ежели я пошлю тебя с поручением?

Евфросинья растерялась. Сердце ее забилось, а к горлу подкатил ком. И сказала она хриплым голосом:

— Не заблужусь, мать Александра, давно не бывала, а помню все улицы и проулки.

Настоятельница подала Евфросинье конверт.

— Передашь барину Николаю Михайловичу Саратовкину в собственные руки.

И она назвала адрес.

Хорошо, что Евфросинья вначале взяла конверт, а потом услышала, кому передать его, иначе по дрожащей руке ее мать Александра могла заподозрить неладное.

Как во сне шла она по знакомым улицам, а когда свернула в переулок и увидела дом с остроконечной крышей и узкими длинными окнами, сердце ее забилось так, что она стала задыхаться и поспешно присела на лавочку возле чьих-то ворот, прижимая руки к груди и пытаясь успокоиться.

Высокое каменное крыльцо чем-то изменилось за эти годы. Она поняла чем — не было сбоку деревянного корытца, в котором оставляли подкидышей, корытца, которое снилось ей всю жизнь в кошмарах... Она бережно держала в руках конверт, изредка взглядывала на него.

«Барину, в собственные руки»,— шептала она и плакала.

Хорошо, что переулок был безлюден и никто не видел сидящую на лавочке плачущую монахиню. Наконец она успокоилась, отерла лицо широким рукавом черной рясы и, пошатываясь, пошла через дорогу к воротам.

Не успела она подойти ближе, как ворота открылись и на дорогу рванулась пара горячих коней, впряженных в высокую новую коляску.

В коляске сидели Николай и Митрофан Никитич. Она сразу же узнала того и другого, скользнула взглядом по постаревшему лицу дядюшки и потом уже не отрывала глаз от сына. Он стал взрослым, широкоплечим, с открытым взглядом веселых карих глаз, ее глаз, с пушистыми волосами, как у нее, у его матери...

Она вскрикнула, подняла над головой руку с конвертом и бросилась под ноги горячих коней. Но кучер вовремя натянул вожжи, дворник, закрывающий ворота, вовремя кинулся к ней и с криком «Ходи с оглядкой!» оттащил ее от дороги.

Молодой барин выпрыгнул из коляски и поднял монахиню. Она дрожала, слезы катились по испачканному лицу. И в то мгновение, когда Николай держал ее за плечи и участливо спрашивал, не зашиблась ли она, монахиня незаметно припала губами к его одежде. А потом собрала все силы и неожиданно звонко сказала, протягивая ему конверт:

— Барину в собственные руки.

Пока он разрывал конверт и читал письмо настоятельницы монастыря, Евфросинья смотрела, смотрела на него, пытаясь навечно запечатлеть в сердце глаза, лицо, движения сына.

— Настоятельница монастыря насчет пожертвования,— сказал Николай дядюшке и пошел к коляске, но снова вернулся, порылся в кармане, достал серебряную монету и подал монахине.

Она протянула дрожащую руку и молча взяла монету.

Кони тронули, кучер гикнул, закрутил над головой кнут, коляска исчезла из глаз монахини. Евфросинья знала, что больше никогда не увидит сына, и единственной памятью о нем осталась в ее руке серебряная монета. Она вернулась на лавочку, где сидела до встречи с сыном, то и дело разжимая руку, глядела на монету с оттиском двуглавого орла. А в мыслях было одно: «Ну почему же, почему не погибла под ногами Саратовкиных рысаков! Все равно я совершила грех, пытаясь наложить на себя руки. Грех этот не замолить в монастырской церкви. Бог не простит».

Сумерки опустились на улицы города. В окне дома Саратовкиных мелькнул свет. Она встала и, пошатываясь, часто останавливаясь, поплелась в монастырь. Другой дороги для нее не было.

15

Борис Королев первый год учился в этой школе. Семь классов он окончил в селе на Первомайских золотых приисках. Десятилетку там еще не построили, и родители отправили сына в город к дальнему родственнику — старому пенсионеру. Тот был рад разделить одиночество хотя бы и с малолетним, и отношения у старого и малого сложились самые добрые.

Они занимали просторную комнату в общей квартире. А в комнате напротив жил тот самый Ваня Семенов, с которым Борис совершил разгром «Избы раздумий».

Первый поход к бане, закрытой сугробами и молодым заснеженным подлеском, совершил почти весь восьмой «Б». Сквозь дверную щель и слюдяное оконце ребята почти ничего не разглядели. Но вывеска им понравилась. Понравилось и место, где стояла изба. А главное, сам смысл существования этой избы, да еще с таким названием.

— Ой, здорово-то как!

— Нам бы такую избу!

— Давайте сделаем такую же! — слышались восклицания со всех сторон.

— Ну уж извините,— сказал кто-то,— обезьянничать? Что, у нас своих голов на плечах нет?

— У нас такого классного руководителя нет! Вот в чем дело!

— Но он ведь и нас тоже истории учит. Почему же все им? А мы что, приемыши?

Так родились зависть к восьмому «А» и критическое отношение к учителю истории.

Вечером Борис пришел к Ивану. Не получалась задача. Матери Ивана, на счастье, не оказалось дома.

Она была актрисой Театра юного зрителя и выглядела

совсем девчонкой, не матерью, а старшей сестрой Ивана. Иван походил на мать. Был тоже маленького роста, худенький, узколицый, с большими, очень серьезными голубыми глазами. Учиться Иван любил. Он удивлялся многим явлениям жизни и пытался найти объяснение им. А, как говорил Аристотель, мышление начинается с удивления. Удивление — могучий источник познания.

Иван был любимцем всех учителей. А Борис относился к Ивану скептически. И если бы он каждодневно не нуждался в помощи одноклассника, то не водился бы с ним. Он, как и многие школьники, презирал отличников, считая их зубрилками. Был убежден, что толку от них для общества все равно не будет. Растратят себя на зубрежку и подлизывание к учителям, а на творчество заряда у них не останется.

Вот все эти соображения Борис и высказал в этот вечер Ивану. Иван вначале рассердился, но успокоился удивительно быстро.

— Да нет, я много занимаюсь не для того, чтобы быть первым. Я об этом и не думаю. Мне просто интересно. Ну, скажем, проходим мы Пушкина. Ольга Николаевна расскажет о нем, об его окружении, об эпохе того времени. Чуть-чуть почитаю в учебнике. А мне хочется знать больше. Я хочу знать все о Кюхельбекере, о царе, об Арине Родионовне, о селе Михайловском, как оно сохранилось. Ну я и достаю книги обо всем этом и читаю. Поэтому, наверное, и знаю больше, чем другие...

Борис ехидно сощурил коричневые глаза и спросил:

— А по физике читаешь книжки про формулы разные? И по геометрии о непересекающихся параллельных линиях?

— И по геометрии и по физике. Знаешь, в серии «Жизнь замечательных людей» какой роман о Ньютоне? Закачаешься!

Борис помолчал. Что-то вроде зависти и уважения к товарищу шевельнулось в его душе, но он постарался заглушить это чувство.

— Я учу только то, что задано по учебникам,— хвастливо сказал он,— и амба! Вокруг так много интересного, что сидеть за книгами некогда.— И снова, ехидно сощурив глаза, спросил: — Ну, а то, что всем нам от учителей попадает, тебе же никогда, ты всегда в стороне, ты всегда паинька, как объяснить?

И вот тут-то Иван не смог ответить.

— Наверное, такой уж я...

— Положительный! — злорадно подсказал Борис.— Ты хоть разок бы доказал ребятам, что не маменькин сынок.

Дома Борис вспомнил, что Иван позволил ему списать уже решенную задачу. Обычно он заставлял Бориса самого делать задачи и только поправлял ход действия. Видно, Ивана взволновали слова товарища, и он забыл о своем принципе не давать списывать, а только помогать.

Иван тоже в этот вечер все время мысленно возвращался к разговору с товарищем.

Нет, он решительно не согласен насчет зубрежки. Он действительно больше всего в жизни любил учиться. В этом была радость, в этом был отдых, в этом было все его будущее, весь смысл существования на земле. Но слова о том, что он «маменькин сынок», «положительный мальчик», задели его. И в них он почувствовал какую-то долю правды.

В самом деле, в школе его всегда только хвалили. Ставили в пример товарищам, и те его не любили...

Иван взглянул на часы. Был одиннадцатый час. Скоро должна прийти из театра мама, и он чуть не опоздал разогреть ужин. Накрывая на стол, потянулся было за хлебницей, но вспомнил, что хлеб мама не ест — худеет. Ему даже жаль ее за эти лишения. Как любил он свежий, ароматный хлеб с толстым слоем масла. А ей нельзя. Пополнеет — не сможет играть девочек и мальчиков. Тоже профессию себе выбрала!

Он принес из комнаты вазу с цветами (цветы у них не переводились от поклонников маминого таланта). Иван любил, чтобы все было красиво. Мама тоже любила.

Опять вспомнились ему слова Бориса: «положительный мальчик», «маменькин сынок». Но почему позорно быть хорошим человеком — дисциплинированным, точным, вежливым? Почему плохо любить мать, не скрывая это от посторонних, заботиться о ней, стараться не доставлять ей неприятностей, которых в жизни у нее и так было сверхдостаточно. Ни у матери, ни у него еще не зажила рана, нанесенная отцом, когда он ушел к сестре матери — тете Лене, которую с детства так любил Иван. И как страшно было им разочаровываться в двух близких людях, отрешиться от них.

И все же в глазах товарищей он «маменькин сынок» и «положительный мальчик».

В прихожей щелкнул замок, послышался шум снимаемой одежды. Потом стукнули об пол сапоги, и, шлепая домашними тапочками, в кухню вошла мама с красными гвоздиками в руке. Как всегда после спектакля, она была возбуждена, со следами грима на лице.

Мама поцеловала Ивана и отдала ему гвоздики.

«Конечно, маменькин сынок»,—с горечью подумал Иван и отметил, что в этот раз не обрадовался ни маминой ласке, ни гвоздикам.

Утром, уже в пальто, с портфелем в руках, Иван стоял в коридоре, ждал, когда выйдет из комнаты Борис.

Вот в двери щелкнул ключ, и старческий голос наставительно сказал:

— Веди себя, как подобает серьезному мужчине. Тройкам и двойкам доступ закрыт.

Борис буркнул в ответ что-то невразумительное.

Иван быстро прошел по коридору, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Встреча получилась случайной, и оба двинулись вниз. Борис, лежа животом на перилах, Иван — вприпрыжку по ступеням.

Шагая по улице, они продолжали вчерашний разговор. Вот тут-то и произошел сговор—вечером поехать на лыжах в «Избу раздумий», насолить восьмому «А» и их классному руководителю.

Повод, с точки зрения Ивана, был серьезный и справедливый, и товарищам можно было доказать, что он не «паинька», не «маменькин сынок»...

А потом вот — комсомольское собрание. Выговор. Но самое неприятное — это разговор с мамой, с глазу на глаз.

— Ты совершил такой бесчеловечный поступок? Ты, отличник! Пример для всего класса! — немного театрально вскидывая брови и расширяя подведенные глаза, изумлялась мама.— Я не верю, чтобы мой сын сделал такое по доброй воле. Скажи, тебя принудили? Тебе грозили? — И в голосе ее звенели слезы и надежда. Надежда и слезы. И тоже чуть-чуть театрально.

— Нет, я сам,— упрямо несколько раз повторил Иван.

Естественно, что назавтра мама вместе с сыном явились пред светлые очи директора.

В кабинете, кроме Павла Ниловича, была классная руководительница восьмого «Б» Татьяна Михайловна — женщина старая и сердитая, которую ежегодно ребята собирались «провожать на пенсию», а она никак не уходила.

У окна, за пальмой, в каком-то странном уединении, почти спиной ко всем, сидел Грозный.

То, что здесь были и мать и учитель истории, еще более испортило настроение Ивана. На душе совсем стало мерзко и мрачно. Он решил молчать, тупо молчать, чтобы уж до конца не быть «паинькой» и «маменькиным сынком».

Опустив голову, он не ответил ни на один вопрос Павла Ниловича и Татьяны Михайловны.

Но он не сдержался все же, когда Татьяна Михайловна сказала:

— Значит, решили мстить, потому что не уважаете, не любите учителя истории...

— Нет,— Иван поднял голову,— такого учителя, как Николай Михайлович, любит и уважает вся школа.

Павел Нилович в изумлении развел руками.

— Так вот, Семенов, чтобы больше таких хулиганских выходок не было. Понял? Ты же отличник, мы всегда в пример тебя ставили! — возмущенно сказала Татьяна Михайловна.— А вас, мамаша, прошу воздействовать на сына. Ведь труден первый шаг, а там пойдет и пойдет...

— Да нет. Не пойдет,— вдруг спокойно сказал Николай Михайлович.

Он встал, подошел к мальчику, положил на его плечо руку и сказал фразу, которую из всех присутствующих понял только один Иван.

— Ну, доказал. И хватит. Больше не надо.

А когда мать и сын вышли, Татьяна Михайловна, изумленно приподняв брови, спросила:

— Что доказал? Кому? Объясните, бога ради!

— Доказал, что и он, как все, способен на месть, на шалость, на плохое поведение. Не мальчишка он, что ли? Ведь надоедает вечно быть примером!

— Ну, знаете!..— сказала Татьяна Михайловна.

А Павел Нилович молча поскреб в голове, усмехнулся, затем нарочито долго рылся в бумагах на столе и вдруг хохотнул:

— А ведь знаешь, Николай, с ними не соскучишься!

Борис явился к директору со старым пенсионером. Старик, убоявшись, как бы детки «не смазали» шапку, снял ее только в кабинете и держал в руке.

— Я не отец. Но мне родителями вверена судьба этого подростка,— торжественно сказал он, радуясь, что наконец снова стал нужен.

Он начал было многословно защищать мальчика, но тот хмуро сказал:

— Я сам, Демьян Семенович!

Борис вышел вперед—решительный, взъерошенный, как воробей перед боем. В самом деле, разве легко пятнадцатилетнему объясняться со взрослыми!

— Мы обиделись всем классом на восьмой «А». Почему они на особом положении? Решили мстить. Я все придумал, и Ивана тоже я подбил. Поддразнивал его, что он «маменькин сынок», «паинька», «отличник». Вот он и решил доказать, что не хуже других. Я виноват, а не он...

Тут Павел Нилович выразительно поглядел на Татьяну Михайловну и прервал мальчика:

— Ну, как сам понимаешь, поступок — хуже не придумаешь. А что товарища защищаешь — молодец! За это вот столечко вины с тебя снимаю.— И он показал на кончик своего толстого пальца.

Татьяна Михайловна молчала. Она не поддерживала снисходительного тона директора с учеником. Она глубоко была убеждена в том, что воспитывать ребят можно только страхом перед взрослыми.

Вечером, когда Грозный шел из школы, его догнали двое мальчишек.

— Николай Михайлович! Мы выслеживали вас целый день и только теперь...

— Поймали?— усмехнулся Грозный.

— Нет, мы для того, чтобы извиниться перед вами,— сказал Борис.— Мы никогда больше так не будем...

— Ну и хорошо,— сказал Грозный.— Бегите домой, а то поздно. Родители ждут.

— Нет, еще не все,— сказал Борис, стараясь идти рядом с учителем, а Иван тактично отступил.

— Я слушал главу из вашей повести. Начало ребята мне рассказали. Я ведь с Первомайских приисков, а они когда-то были приисками Саратовкиных.

— Что ты говоришь? — изумленно переспросил Грозный и остановился.— Ты где живешь?

— Да вон, на той стороне!—враз показали мальчишки.

— Ну, тогда я на полчасика к вам. Не возражаете?

— Конечно! — дружно воскликнули оба.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ

Много раз в жизни вспоминал Николай Саратовкин один из своих приездов с Митрофаном Никитичем на золотые прииски.

Управляющий с нарочным не однажды слал письма, в которых сообщал о том, что рабочие бастуют, требуют прибавки жалованья и десятками перебираются к другим хозяевам. Барин не обращал внимания на эти жалобы. Управляющему надоело равнодушие молодого Саратовкина, и он пригрозил уходом.

В жаркий июльский полдень неожиданно Николай и Митрофан Никитич появились на прииске. Они знали, что на главном стане в это время дня никого не застать, и подъехали прямо к забоям, спешились, привязали к дереву коней.

Николай с детства хорошо знал эти места. Сюда в летнюю пору не раз приезжал он с Анастасией Никитичной и часами просиживал у бутарки, где рабочий, вооружившись железным гребком с деревянной ручкой, промывал песок. Мальчик с интересом наблюдал, как старатели ссыпали песок из тачек в воронкообразную верхнюю часть бутарки на железный грохот с дырочками. Он думал: «Так много песка переворошили, так

много рабочих трудилось, и так мало оказалось золота, совсем мало. Хоть бы самородок попался! Не с кулак величиной, хотя бы с ноготь!» Но самородки не попадались...

В ту пору ушедшего детства Николай не замечал, насколько прекрасна была здесь природа. Зато теперь его поразила первозданная красота, от которой он не мог отвести взгляда. Дядюшка уже несколько раз окликал его. А он стоял и смотрел на величавые голубые гольцы, сверху покрытые снегом, грядами уходящие в туманную высь неба. Прииск обнимала тайга, которую Николай только что пересек верхом на коне по узкой тропе. Глухие, прохладные кедрачи пушистой хвоей своей шептали удивительные истории, совершающиеся здесь, на золотых приисках. Ведь почти каждый старатель шел сюда в надежде на фарт, с тайной мечтой разбогатеть. А фарт этот приходил к избраннику раз в столетие. Сколько трагедий было пережито здесь, сколько преступлений совершено!..

Мысли Николая прервал дядюшка, которого заедала мошка. Он уже извлек из кармана сетку и подал ее племяннику, сам же, ругаясь, отбивался черемуховой веткой от живого клубка гнуса, кружащего над головой.

В этот день хозяин вместе с управляющим осмотрел прииск. В просторной избе на главном стане Николай пообедал вместе с рабочими за деревянным, чисто выскобленным столом. Грузная фигура поварихи, мелькнувшая у печки, показалась ему знакомой, но он не задержал на ней своего внимания.

Похлебка была жидкой. Правда, в оловянной миске Николая поблескивали жиринки и плавало мясо, но он понимал, что хозяину подано лучшее. Он слышал, как молодой рабочий громко сказал соседу: «Проси добавку — при барине не откажут».

Вечером на главном стане собрались рабочие всего прииска. Дядюшка и управляющий побаивались многолюдного сборища, предлагали молодому хозяину побеседовать с рабочими на отдельных станах, но Николай еще не привык к окольным путям, и, кроме того, неожиданно для себя ему захотелось почувствовать настроение этих людей, понять, чем они живут.

В памяти на всю жизнь осталось одно впечатление от этого разговора, резкость и презрение большинства, настороженность и холуйское подхалимство некоторых, а за всем этим — стена ненависти к нему, капиталисту. Он думал о том, что требования рабочих были справедливыми, но понимал, что если удовлетворить их, то прииск заметно снизит прибыль, которая множит саратовкинские капиталы. И Николай вступил на окольный путь, по которому всегда шли и его приемный отец и

дядюшка. Он пообещал рабочим продумать их требования и сообщить свое решение.

«Как все это странно, нелепо, непостижимо!» — думал Николай, поздним вечером сидя на завалинке, напротив дома главного стана, притаившегося среди стволов деревьев, в завешенных окнах которого мерцал слабый свет.

Николай докурил папиросу, бросил на землю, затоптал.

Ему захотелось пройтись по лесу. Зябко поеживаясь от ночной прохлады, засунув руки в карманы, нащупывая ногами тропу, он не спеша пошел между деревьями в глухой мрак ночи. Не успел Николай сделать и десятка шагов, как почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки. Он не испугался. Остановился, вглядываясь в темноту. Перед ним стоял высокий человек.

— Неразумно, хозяин, ночью гулять одному по лесу,— весело сказал он хрипловатым голосом. Это был откатчик Матвеев, мужик средних лет, заросший до глаз, больших, пронзительных, умных глаз. С львиной гривой волос, широкоплечий и большерукий.

На собрании рабочих он наговорил Николаю и управляющему прииска много резких, обидных слов, самых неприятных, но и самых справедливых.

— Здесь не город. Чай ты давеча понял, что старатели тебе не ахти какие други, глядишь, и натворят что под покровом ночи-то,— так же весело продолжал он.

— А у меня в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи, золота тоже нет,— попытался отшутиться Николай.

— Ан не всегда в этом дело, хозяин. Есть на свете такая штучка — посильнее золота. Классовой враждой называется. Слыхал, верно?

— Как не слыхать! — все так же пытался шутить Николай.— Слухами земля полнится!

А сам подумал, что ее — эту классовую вражду — он ярко почувствовал сегодня в разговоре с рабочими прииска.

— Нет, неразумно, хозяин, одному по лесу ходить, неразумно,— твердил свое Матвеев.— Саданет в темноте старатель какой ножом в спину — и поминай как звали! Ночь злодея не выдаст. Возьми хоть меня в товарищи погулять.

Николаю стало не по себе от речей откатчика, но гордость не позволила повернуть обратно.

— Пойдем,— сказал он.

По узкой тропе идти рядом было невозможно, и откатчик

пропустил хозяина вперед. Николаю казалось, что еще несколько шагов, и он почувствует в спине лезвие того самого ножа, о котором так весело говорил Матвеев.

— Теперича направо, хозяин, там близко просека,— сказал откатчик и громко стал насвистывать какой-то странный, срывающийся мотив.

Николай вздрогнул. Ему показалось, что свист этот был сигналом. Он остановился, порывисто повернулся к Матвееву и дрожащими руками стал доставать из кармана папиросы.

— Куришь? — спросил он.

— Даровое курю.

Он принял папиросу, зажег спичку и, прежде чем Николай приложился краем папиросы к огню, осветил его лицо. Умные, пронзительные глаза насмешливо взглянули в глаза Николая.

В эту минуту вблизи послышался конский топот.

— По просеке скачут! — прикуривая, сказал Матвеев.— Смотри, хозяин, пока ты гуляешь по тайге, не твоих ли коней слямзили?

— Кому здесь нужны мои кони? — спокойно возразил Николай.

— Не жалко, значит. Да при твоих капиталах — что кони! Посидим вот здесь.

Николай вгляделся в темноту и увидел белеющий ствол сваленной березы. Они сели. До них все еще доносился затихающий топот лошадиных копыт.

— В самом деле, зачем кто-то ночью скакал по просеке? — спросил Николай.

— Я же говорю: твоих коней, хозяин, угнали. Других коней здесь не было...— засмеялся откатчик.— Хоть этим тебя прижать решили. А то какая несправедливость: ты, скажем, миллионером родился, а я нищим. Тебе все, а мне ничего.

— И я — нищим,— неожиданно для себя сказал Николай.— Нищая подбросила миллионеру. Тот усыновил.

— Рассказывай басни,— не поверил откатчик.

— Ну, не верь. Я правду говорю.

— Стой, стой, а ведь слухи такие в самом деле ходили у нас на прииске. Повариха сказывала... Занятно. Как же ты своих-то эксплуатируешь? Взял бы да богатства свои поделил на всех. И мне бы, глядишь, что-то перепало.— Он помолчал и сказал резко: — Нет, брат, хоть и нищим родился, а вырос в довольстве. Про нужду не знал. Гусь свинье не товарищ! — И опять он помолчал, а потом спросил раздумчиво: — Ты, хозяин, в бога веруешь?

— А что? — спросил Николай.

— Вот ты не ответил прямо на мой вопрос, значит, и у тебя сомненьице: вроде бы и нет его, а вдруг есть — накажет за неверие. А я, хозяин, не боюсь и говорю: знаю, что бога нет. Не мог бы он учинить такой несправедливости — одному все, другому ничего. Я не только про богатства говорю. Я и про другое думаю. Вот у меня, к примеру, сын глухонемым родился. За что ребенку наказание такое? За мои грехи али материны? Где же справедливость-то? Нету ее на свете. Нету. А стало быть, и бога нету.

Николай молчал. Он не мог опровергнуть слова откатчика. Эти самые мысли не раз посещали и его, колебали веру в бога. А он страстно хотел верить, считая, что только вера может скрасить бессмысленность человеческого существования.

Время подходило к полуночи. На черном небе мерцали яркие звезды. На кружева кедровых крон то там, то здесь игриво садился золотой рогатый месяц. С гор, из ущелий, как из ледников, тянуло холодом. Ветерок не дышал.

Но вдруг тишину разорвали крики, потом раздался пронзительный женский вопль. Шум слышался со стороны главного стана.

— Что случилось? — обеспокоился Николай.

— Что-то случилось, хозяин,— спокойно сказал откатчик.— В такие разбойничьи ночи завсегда что-нибудь случается. Поглядим, что ли?

Он встал, шумно потянулся, так что хрустнули суставы, и пошел по тропе, теперь уже впереди.

А на прииске в эту ясную, безветренную ночь действительно случилось удивительное происшествие. Николай и Матвеев увидели у построек главного стана толпу людей. Многие держали в руках зажженные фонари. Из открытой двери дома на крыльцо падал свет, и оттуда слышалось женское причитание, голос был уже охрипшим от громкого плача.

К Николаю метнулся дядюшка.

— Ну и слава богу! Слава богу! — широко перекрестился он, увидев Николая.— Где же ты пропадал? Я уж чего только не передумал! А тут вон какие дела!

И Николай узнал, что, пока он любовался природой и беседовал с откатчиком, на его конях с прииска сбежали двое: красавец цыган и внучка поварихи.

— Романтическая история! — усмехнулся Николай и подумал, что Матвеев, вероятно, в сговоре с ними.

Было понятно горе поварихи. Но толпа, как ни странно, со-

чувствовала не ей, а какому-то оборванцу, сидящему на крыльце. Он вцепился руками в волосы и раскачивался из стороны в сторону с глухими стонами.

«Должно быть, отец сбежавшей»,— подумал Николай. Но это было не так.

Позднее Николай узнал фантастическую приисковую историю, связанную с этим ночным происшествием. Одну из тех историй, которых так много слышал он с детства.

Этот оборванец много лет работал на приисках. Его звали Петром Чижиковым.

В ранней молодости Петр Чижиков пришел старателем на прииски Михайла Ивановича Саратовкина, как все, мечтая о фарте. Он был работящим, скромным, не прикасался к спиртному. Управляющий приметил эти качества молодого рабочего и, когда однажды приехавший на прииски Саратовкин потребовал человека, которому мог бы он доверить серьезное поручение, прислал к хозяину Чижикова.

Саратовкин принял его в кабинете управляющего. И когда молодой рабочий смущенно остановился у двери, не зная, куда девать свои большие заскорузлые руки, Саратовкин оглядел его цепким, молниеносным взглядом и остался доволен.

— Так вот, Петр Чижиков,— сказал Саратовкин, пальцами, украшенными драгоценными перстнями, ухватив в горсть густую, вьющуюся бороду,— фарт, ради которого ты пришел сюда, не в горах лежит, а вот он,— Саратовкин отпустил бороду и ударил кулаком в свою могучую грудь,— перед тобой. Я твой фарт! Понял?

Петр Чижиков ничего не понял. Переминаясь с ноги на ногу, он испуганно поглядывал на хозяина.

— Молчать умеешь? Тайну сохранишь? — спросил Саратовкин.

— Умею. Сохраню,— оторопело ответил парень.

— За тайну, которую доверю тебе, получишь дорого,— торжественно сказал Саратовкин, поднимая указательный палец,— а когда дело, ради которого ты нужен, завершится успехом, будешь богат. Понял?

— Как не понять-то! — Петр Чижиков выпрямился, сообразив наконец, что он позарез нужен хозяину.

— Для отвода глаз станешь работать на прииске, а основное дело твое отныне — не спускать глаз с зеленых гольцов, чтобы ни одна душа туда не проникла!

— Да кто пойдет туды, хозяин: путь опасный! — сказал Чижиков.

— Пойдут, Петр, пойдут! Жизнью рисковать будут, а пойдут. Придет время — поведаю тебе все. А пока на слово поверь! Любой ценой никого не пускай к гольцам! Задержишь кого — обыщи. Отбери бумагу — планом называется. И тотчас же ко мне — в ночь, за полночь. Надо будет — на тот свет отправь без жалости, без страха. Сам богачом станешь — деньги завсегда выручат. Понял, парень?

— Как не понять...— бледнея, повторил Петр Чижиков, начиная догадываться, о чем идет речь.— Не сумлевайся, хозяин. Никто к зеленым гольцам не пройдет.

— А коли поинтересуется управляющий, о чем я с тобой говорил, скажи: звал, мол, хозяин на работу в сиротский дом, да ты согласия не дал.

Прощаясь с Чижиковым, Саратовкин протянул ему деньги.

Петр никогда не держал в руках такой большой суммы. Глаза его заблестели. Колени затряслись. Теперь он знал, что судьба понесла его в гору.

С того дня Петр Чижиков не спускал глаз с пади, что раскинулась вблизи зеленых гольцов... С площадки стана, на котором работал Чижиков, была видна эта падь. Миновать же ее, идучи к зеленым гольцам, невозможно. Другого пути нет. Падь, со всех сторон окруженная гольцами, в одном месте суживалась и заканчивалась входом в ущелье, причудливой естественной аркой. Местные жители знали, что, минуя это ущелье, к зеленым гольцам путь был один — по аршинному выступу скалы, уходящей в облака, отполированной ветрами и временем. Скала висела над бездной.

Шли годы. Петр Чижиков из забоя перешел на работу откатчика. Так было удобнее не спускать глаз с зеленой пади. А ночевать он уходил в ущелье. Поставил там шалаш, объяснив любопытным, что заезжий лекарь посоветовал сквозняком ущелья лечить мучившую его с детства падучую. Товарищи расценивали это как причуду Чижикова, посмеялись, но перечить ему не стали.

Однажды Чижиков не пришел на работу. Старатели решили, что он заболел, и под вечер отправились навестить товарища. Но Чижикова в пещере не оказалось. Шалаш был свален, постель разбросана, а на камнях запеклись пятна крови.

Долго гадали рабочие, что произошло здесь ночью. Может, беглый каторжанин по каким-то соображениям порешил Чижикова? Ясно одно — труп сброшен в бездну и оттуда его не достать. Там могила Петра.

Перекрестились, повздыхали старатели. Погрустили о невеч-

ности человеческой жизни и пошли на стан устало и молчаливо, как с похорон.

А в ту ночь у Чижикова наконец произошла встреча с тем, кого он и Саратовкин ожидали все эти годы.

К зеленым гольцам пришел человек с планом местности, где были обозначены залежи золота. И двое сцепились не на живот, а на смерть. Чижиков убил человека, сбросил его труп в пропасть, завладел планом и помчался в город.

Но было уже поздно. Хозяин лежал на столе, с бумажным венчиком на восковом лбу, сложив на груди украшенные перстнями руки, безразличный ко всем приисковым историям и вообще ко всему, что называлось жизнью. Блики от горящих свечей, странно живые, бежали по неподвижному лицу и рукам. В изголовье мертвеца старый монах вполголоса читал отходную. У гроба, в глубоком трауре, причитала Анастасия Никитична.

Петр Чижиков долго стоял в ногах усопшего, растерянный, уничтоженный, потрясенный. Рухнули все мечты. Что было делать с бумажкой, испещренной непонятными знаками? Зачем надо было убивать человека и брать незамолимый грех на душу?

На другой день Петр Чижиков возвратился на стан. Он сочинил необычайную историю, якобы происшедшую с ним в ущелье. И запил. А потом все пошло, как было. Только к ущелью он больше не подходил и прятал ото всех непонятный ему план. Хранил пуще глаз.

Так уходили годы. Ждал Чижиков, когда подрастет молодой хозяин, хотел поведать ему тайну.

Но как-то в пьяном виде не удержался, развязал язык, и стало все известно цыгану, работавшему в забое. Вороватыми, жадными глазами разглядывал цыган драгоценную бумагу, тыкая грязным пальцем в непонятные изображения, и высказывал разные мысли: «Это пещера. Это, стало быть, скала... Здеся обрыв. А значками прописано, где золото лежит».

Петр Чижиков и сам давно догадался об этом. Только как можно одному браться за такое дело? Цыгана и сговаривать не понадобилось. Сам навязался в связчики. А потом выкрал план у Чижикова. Прихватил поварихину внучку, на которую давно заглядывался, и умчался с нею на хозяйских конях...

Николай вошел в дом, откуда слышался плач. Подошел к поварихе. Грузным телом она навалилась на подоконник, с отчаянием и надеждой вглядываясь в непроглядную тьму ночи.

На голос Николая она обернулась, выпрямилась и, подбирая под белый платок прилипшие к мокрому лицу седые пряди волос, сказала:

— Вот как, барин, встретились...

Николай с удивлением глядел на нее, припоминая, где же в самом деле встречал он эту старуху, и вдруг вспомнил: он держит в своих руках покрасневшие от холода руки Любавы и дыханием согревает ее пальцы; скрипит снег, и между крестов появляется Панкратиха в длинном, распахнутом пальто...

«Так, значит, с цыганом сбежала Любава!» Он ощутил боль в сердце и стоял молча возле старухи, не сочувствуя ей и не пытаясь утешить ее.

Последнее время Николай редко вспоминал о Любаве. Но первая любовь где-то глубоко таилась в его душе, иногда напоминая о себе неясной тоской, внезапными смутными мечтами, готовая вот-вот вспыхнуть затаившимся пожаром от легкого дуновения ветерка.

А Любава уже больше года жила на прииске, работала на кухне.

В тот момент, когда возле стана спешились двое, Любава несла воду на коромысле. То, что один из приезжих был о н, ей подсказало сердце, в котором он жил и после принятого ею решения забыть его.

Николай бросил равнодушный взгляд в ее сторону. Он не узнал Любаву. Она же поняла по-другому: узнал, но не захотел показать этого. Зачем ему она, судомойка? Да только пожелай он, богатый, молодой и красивый, самые лучшие барышни города прибегут к нему на свидание, будут набиваться в невесты.

Ей стало горько до слез. Но она гордо подняла голову и не глядя прошла мимо Николая плавной походкой, раскинув руки по крыльям коромысла. Не прошла, а проплыла лебедушкой.

Девушка сказалась больной и не подавала обед, когда Николай сидел в столовой. Она смотрела на него в щель кухонной перегородки и плакала, вспоминая первую встречу с ним и свидания на кладбище.

Силой своего дара она могла бы заставить его сейчас вспомнить о ней, прийти в лес к ней на свидание, объявить бабке свое решение жениться на Любаве. Но она не хотела пользоваться этой силой, властью своей заставлять Николая любить. Она смотрела на него и плакала, проклинала жизнь, желала себе смерти. Накануне цыган рассказал ей о бумаге, которую пуще глаз хранит Петр Чижиков. Выкрасть план. Найти золото. Разбогатеть. Быть на равной ноге с Николаем — решила Любава. И ночью она ускакала с цыганом.

О побеге Любавы и цыгана ходили разные толки. Одна Пан-

кратиха догадывалась обо всем и во всем винила себя. Иногда Николай замечал ее странный, недоброжелательный взгляд, обращенный к нему, и не понимал его.

Не любовная история девушки и цыгана взбудоражила старателей. Узнав об украденном плане, они готовы были ринуться на поиски. Будь Николай более предприимчивый — взялся бы он серьезно за это дело, как подсказывал ему дядюшка, и, конечно, беглецов разыскали бы, саратовкинский прииск, может быть, приумножился бы новыми богатейшими залежами золота. Но Николай колебался. Иногда он готов был обратиться к помощи полиции или снарядить на поиски своих людей. Это было бы разумно. Но верх взял не разум. Николай подчинился сложному чувству, обуревавшему его. Он не хотел больше слышать о Любаве.

Но несмотря на горечь и обиду, Николай знал, что виноват сам. Годы сделали свое... Почему Любава должна была ждать его? Он давно мог найти ее, если бы захотел.

Так уходили из жизни Николая дорогие люди: мать, скрасившая детство лаской и любовью, Любава, яркой звездой осветившая юность, а потом и Василий Мартынович, которому на всю жизнь был он обязан лучшими стремлениями своими и лучшими душевными качествами.

16

«Странный я учитель, — написал в своей записной книжке Николай Михайлович Грозный.— Обычно учителя, сидя за столом, готовятся к урокам: составляют планы или делают наброски, заметки какие-то... Так работал блестящий педагог Саратовкин. Так делали Макаренко, Ушинский, Сухомлинский».

Николай Михайлович встал из-за стола и начал ходить по своей небольшой, но свободной комнате. Он не любил в доме ничего лишнего. Письменный стол. Кровать. Шкаф с одеждой. Шкаф с необходимыми и любимыми книгами. Стены от потолка донизу завешаны картами. В простенке большая фотография — весь их класс в день получения аттестатов. Этот снимок был дорог ему главным образом одним лицом — лицом Симочки, ее глазами, которые всегда глядели на него в этой одинокой, холостяцкой комнате.

Сейчас он представил себе завтрашний урок. Представил так ярко, точно уже провел его и теперь вспоминает.

Вот он входит в кабинет истории. Входит, как всегда, с радостью, вдохновенный, со страстным желанием вести урок так, чтобы не было равнодушных лиц, скучающих глаз, даже когда тема урока не очень интересна. Близится конец года, надо подтянуть слабых учеников, повторить пройденное. Ученики этого не любят. Им хочется нового.

Николай Михайлович спросит, какие возникли вопросы при повторении материала о трех этапах революционного движения в России. И мгновенно заметит в разных концах класса несколько пар глаз, старательно избегающих взгляда учителя.

Вопросительно смотрит Наталья. За нее-то Николай Михайлович спокоен. Пройденный курс она знает отлично. Не просто знает. Разбирается. Понимает. Но вопросов у Ната-

льи всегда много. Сейчас она молчит потому, что стесняется отнимать время. Повзрослела Наташка. В младших классах на ее вопросы уходила большая часть урока.

А вот Филипп Оречкин — ленивый толстяк. Он просто не удосуживается заняться историей. Да только ли историей? Что для него главное в жизни? Это Николаю Михайловичу еще неясно. Может, интерес, увлечения придут с годами? А может, так и останется он человеком пустым, никчемным, равнодушным ко всему? К сожалению, и так бывает. Ни добрые встречи, ни внимательные учителя, ни жизненные уроки — ничто не поможет.

Николай Михайлович задумчиво пройдется по классу и заговорит с учениками спокойно, доверительно. Он будет спрашивать их мнения о том или ином событии, будет соглашаться с ними или возражать, подмечая неточности и ошибки, заставит ребят поспорить друг с другом, оперируя датами и фактами. А потом внезапно прервет свое хождение меж рядов, остановившись у стола, и скажет:

«Если вы не возражаете, Иванову мы поставим пять за сообщение. Остальным — четверки». Возражений нет.

«Ну, а что же было в нашем крае во второй половине девятнадцатого века? Кто расскажет нам о том, как наш край затронуло народническое движение? Кто из деятелей науки и искусства жил здесь, в нашем городе?» И десятки горящих глаз осветят душу учителя своим проникновенным светом. Стремительно взлетит вверх длинная рука Семена.

«Я по материалам архива, Николай Михайлович,—хрипло от волнения скажет он,— хочу выступить. Разрешите!» И учитель даст ему слово. Это выступление будет ново для учеников. Оно будет интересным. Нужно оставить для него время.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

СЛЫШЕН ЗВОН КАНДАЛЬНЫЙ...

Василий Мартынович Завьялов преподавал русскую литературу на учительских курсах. Студенты любили его лекции. В них были неожиданные «вольные» обобщения, после которых обычно разгорался спор, рождались новые мысли и даже убеждения. Николай с увлечением посещал лекции Завьялова.

Молодой капиталист, решивший посвятить себя педагогической деятельности,— явление довольно редкое. Естественно, что он интересовал и студентов и преподавателей. Василий Мартынович давно уже присматривался к Саратовкину и, когда ему стал ясен душевный облик юноши, вызвал его на откровенный разговор...

Они сидели в небольшой квартире Василия Мартыновича. В открытую дверь спальни была видна кровать с никелированными спинками, аккуратно, по-солдатски, заправленная. А в комнате, где сидел гость, стояла фисгармония, верх которой был завален нотами, и еще — стол, покрытый чистой, но плохо отглаженной скатертью, небольшой старинный буфет с деревянными украшениями, изображающими листья и гроздья винограда. Неуместным и сиротливым в этой холостяцкой обстановке казался горшок бурно цветущей герани на подоконнике.

Николай и не заметил бы этого цветка, если бы Василий Мартынович не подошел к окну и не ткнул в горшок пальцем, проверяя: не сухая ли земля.

— Вот, Николай, так и живу один,— сказал Василий Мартынович, продолжая разговор, начатый по дороге домой.— Сегодня здесь, завтра — на каторге! Какая тут семья!

Многого, очень многого, о чем говорил в этот вечер Завьялов, еще не понимал Николай. Но, слушая Василия Мартыновича, чувствовал, что жить так, как он, Николай, жил все это время, больше не может, да и не хочет. И он сказал об этом:

— Знаете, Василий Мартынович, я решил: закончу курсы, пойду работать учителем, раздам капиталы нищим, развяжу себе руки и стану свободным.

Василий Мартынович долго не отвечал на эти слова. Он сидел, склонив длинноволосую русую голову, и тонкими пальцами набивал грубую, потемневшую от времени трубку. Затем он закурил и, выпуская дым игривыми колечками, поднял лицо.

Николай подумал: «Как же мог он оставаться убежденным холостяком — этот красавец с удивительными чертами лица! Какой умный, открытый лоб с поперечной, задумчивой морщинкой, какой изящный, пропорциональный нос, какой привлекательной формы губы, чуть насмешливые и чувственные. И какие глаза! Светлые: то ли серые, то ли зеленые, то ли голубые. Вернее, и то, и другое, и третье, в зависимости от времени суток и душевных переживаний. А глубина этих глаз загадочно-захватывающая. Будь я женщиной — погиб бы от этого взгляда».

— Не поддерживаю я, Николай, этого намерения вашего,— сказал Василий Мартынович. И он намекнул, что в том положении, которое занимает в обществе Саратовкин, он может быть более полезным людям и даже тому делу, которому служит Василий Мартынович.

И вот для Николая наступила новая жизнь — интересная, волнующая и осмысленная. Учитель давал ему запрещенные книги, Николай с увлечением читал их, удивляясь тому, как был слеп прежде и не знал главного в жизни. Радость отравляло одно: был Саратовкин глубоко законспирирован, общался только с Василием Мартыновичем, да и то теперь тайно, урывками. Вскоре произошло событие, заставившее его остро почувствовать горечь своего двусмысленного положения.

По просьбе Василия Мартыновича Николай должен был некоторое время скрывать в своем доме бежавшего из ссылки революционера. Николай объявил дядюшке, что намерен построить домашнюю библиотеку и заняться ею поручил специалисту,

которого выписал из другого города. Новому служащему приготовили комнату во флигеле, где останавливались наезжающие к барину по делам служащие с приисков и сиротских домов. Определили жалованье.

И вот он прибыл. Отрекомендовался Сергеем Евсеевичем Сверчковым. Николай понимал, что это не настоящее его имя. А тот думал, что Саратовкин действительно принимает его за библиотекаря, и сам принимал Саратовкина только за хозяина, опасаясь, как бы тот не дознался, кто он на самом деле.

Николаю доложили о приезде Сверчкова, и он встретил гостя в дверях своего кабинета, стены которого были отделаны темным деревом. Перед ним стоял небольшой исхудавший человек средних лет, с нездоровым цветом лица, броского грузинского типа. «Ему трудно скрываться»,— подумал Николай, разглядывая серые, выпуклые глаза Сверчкова с покрасневшими то ли от бессонницы, то ли от болезни веками, его ярко-черные, сросшиеся брови и густую бороду. Он производил впечатление смертельно уставшего человека.

Николай пожал его холодную, чуть влажную руку, сказал обычное: «Как доехали? Очень приятно познакомиться» — и добавил: «Теперь отдыхайте с дороги. А о делах поговорим завтра». Он отправил его с провожатым во флигель.

Последующие три дня Николай не видел Сверчкова. Ссылаясь на свою занятость, он давал тому возможность отдохнуть, оглядеться, прийти в себя.

Наконец беседа состоялась. Оба чувствовали себя затруднительно. Николай толком не мог объяснить, что ему нужно от нового служащего. А тот, не будучи сведущим ни в строительном, ни в библиотечном деле, не мог ничего предложить.

Больше всего Сверчкова пугала необходимость покупать книги. Ведь это означало, что ему придется бывать в магазинах, ходить по городу, а может, выезжать и в другие города за какими-нибудь редкими изданиями. Но молодой хозяин сказал:

— Библиотеку мы построим за садом, на поляне. В ближайшие дни вы займетесь с моим инженером проектом здания, а потом будете наблюдать за строительством. С приобретением книг торопиться пока не станем.

Сверчков ушел в свой флигель, совершенно сбитый с толку, но и успокоенный. Значит, можно какое-то время отсидеться у Саратовкина. Сюда-то уж не сунутся полицейские. Ах, и умник же Завьялов. А хозяин — тот просто чудак. Говорят, и отец у него был таким же сумасбродом.

Вскоре Василию Мартыновичу понадобилось передать

Сверчкову шифровку. Был только один путь — сделать это через Саратовкина. Николай встретил Сверчкова во дворе. В потрепанном костюме, слегка припадая на правую ногу, тот шел на строительную площадку. Сбоку поглядывая на него, Николай с удовлетворением заметил, что выглядит Сверчков много лучше: посвежел, помолодел даже...

Они вышли на поляну, заваленную бревнами, обогнули выведенный фундамент нового дома. Николай поинтересовался планом библиотечного зала и затем будто невзначай сказал:

— Преподаватель мой, Завьялов Василий Мартынович, для будущей библиотеки книгу подарил. Переписка Екатерины Второй. Любопытная книга.

«Как неосторожно!» — ужаснулся Сверчков, однако принудил себя улыбнуться и сказал:

— Для начала хороший дар, Николай Михайлович.

— Так загляните вечерком за книгой.

Когда Сверчков пришел, Николая охватило озорство молодости. Захотелось заставить поволноваться казавшегося невозмутимым Сверчкова. Николай взял с письменного стола книгу и стал перелистывать ее страницы.

— Вроде и новая,— сказал он,— а в чьих-то руках уже побывала, и слова многие подчеркнуты. Видите: «необходимо», «сообщить». Смотрите, даже складно получается. Стереть, что ли, отметины? — И он потянулся за резинкой.

— Не принуждайте себя, Николай Михайлович,— спокойно сказал Сверчков, вставая и неторопливо протягивая руку за книгой.— Я это сам сделаю.

— Ну сам так сам.— Николай закрыл книгу и подал ее Сверчкову. Он заметил на лбу Сергея Евсеевича бисеринки пота и пожалел о своем мальчишестве.

Сверчков был ему симпатичен, и не раз хотелось откровенно поговорить с ним о жизни, о себе, о революционерах, о том, что делало существование Николая осмысленным и привлекательным, и о том, как горько было, что Сверчков и его товарищи считают Николая врагом. Но Василий Мартынович требовал, чтобы Саратовкин оставался для своего нового библиотекаря капиталистом, эксплуататором, одним из тех, с которыми тот боролся страстно, поставив на карту жизнь.

Как ни надежно был запрятан революционер, а полиция все же напала на его след. В дом Саратовкина прибыл сам начальник полиции. Тучный мужчина, саженного роста, с предупредительными манерами и доброй, располагающей улыбкой. Он с трудом втиснулся в предложенное ему кресло.

— Извините, Николай Михайлович,— сказал он мягким, вкрадчивым голосом,— начну без предисловий: подсунули вам в библиотеку бежавшего из ссылки политического.

Николай растерялся. Он мучительно прикидывал, что предпринять, как спасти Сверчкова. Но у него не было опыта в подобных делах, и он не знал, как поступить.

Николай постарался изобразить возмущение: пожимал плечами, разводил руками: дескать, кто бы мог подумать такое? Чтобы оттянуть время, он предложил начальнику полиции чаю, наливочки, а политический пока, мол, никуда не денется. У Николая мелькнула надежда, что Завьялов прослышал о случившемся и поспешит спасти Сверчкова. Садовая калитка выходит в глухой проулок, о ней никто не знает — так густо заросла она вьюном; правда, Николай не успел показать ее Сверчкову...

— Да и куда ему деваться?! — спокойно сказал полицмейстер.— Усадьба ваша стражей оцеплена.

Но от наливки он все же отказался. Такие дела надо быстро совершать.

Николай стоял во дворе, когда мимо него провели Сверчкова с руками, схваченными наручниками. Он не был ни испуган, ни бледен. Он был зол. И когда поравнялся с Николаем, взглянул на него брезгливо, с ненавистью:

— До свиданья, барин. Может, когда-нибудь поквитаемся! — Он был уверен, что его предал Николай.

Дворник закрыл ворота. Смолкли на улице шаги конвоя. В окнах людской исчезли испуганные лица. А Николай все стоял посреди двора, не в силах освободиться от боли, причиненной взглядом и словами Сверчкова. Он боялся, что и Завьялов заподозрит его, Николая, в предательстве. Потом ему пришла мысль о том, что следы от Сверчкова могут привести полицейских к Василию Мартыновичу, и он решил немедленно повидать учителя, рассказать о случившемся.

— Маркел! — крикнул он конюху.— Быстро седлай Звездочета!

Вскоре Николай не скакал, а медленно пробирался по улице, потому что было воскресенье и горожане гуляли прямо по мостовой. Они расступались, узнавая Саратовкина.

На углу, где он намеревался свернуть в узкую улицу, ведущую к дому учителя, его окликнули. Николай придержал Звездочета и с удивлением увидел, что перед ним на тротуаре стоит откатчик Матвеев, с которым он не встречался с той памятной ночи в тайге, но слышал, что Матвеев давно уже ушел с его прииска и работает теперь в железнодорожной мастерской.

Матвеев перескочил через канаву, густо поросшую отцветшими одуванчиками.

— Николай Михайлович! Поворачивай назад. Завьялова полиция забрала. Я к тебе шел по его поручению. Теперича жди от меня весточки.

С этими словами он глубоко запрятал руки в карманы широких штанов и пошел прочь, напевая и чуть пошатываясь, как человек, изрядно посидевший в кабаке. А Николай повернул Звездочета и поехал, выбирая самые безлюдные улицы.

Тяжко было думать об учителе, как мысленно с детских лет привык он называть Василия Мартыновича. Какие страдания уготовит ему и Сверчкову судьба?

Он отпустил поводья, позволив Звездочету самому выбирать дорогу. Через некоторое время Николай обнаружил, что выехал за город, прямо к Александровскому тракту, по которому ночь и день шли на каторгу арестанты, позвякивая кандалами. Порой кто-нибудь с надрывом затягивал грустную песню:

Далеко в стране Иркутской,
Между гор и диких скал,
Обнесен крутым забором
Александровский централ.

В колонне глухо подхватывали:

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандальный,
Динь-бом, динь-бом,
Путь сибирский дальний...
Динь-бом, динь-бом,
Слышно там и тут —
Нашего товарища на каторгу ведут...

Шли уголовники, ради наживы не гнушавшиеся убийством и грабежом. Шли политические, отрешенные от личного благополучия, отдавшие жизнь борьбе за правду и счастье народа.

Широкая истоптанная дорога с полосатыми верстовыми столбами по бокам в этом месте спускалась в низину, заросшую кустарником, а затем поднималась на открытый взлобок, справа и слева от которого за горизонт уходила на сотни верст тайга — зловещее пристанище хищников и беглых каторжан.

На взлобке Николай остановил Звездочета и долго, задумчиво глядел на дорогу. Вот здесь пройдет человек, для которого

он, Николай, так и не успел ничего сделать, разве что дал возможность недолго передохнуть.

Одно маленькое светлое чувство все же нет-нет да и вспыхивало в его сознании: какое счастье, что не для всех он ненавистный миллионер-эксплуататор. Матвеев знает, что Саратовкин с ними. Ему сказал учитель. Вероятно, знает кто-то еще. Николай будет ждать заветной весточки от Матвеева, оставшись опять в полном одиночестве.

Но ждать пришлось совсем недолго.

Однажды, когда Николай и Митрофан Никитич работали, отворилась дверь кабинета, и слуга доложил, что пришел бывший откатчик прииска Матвеев, спрашивает хозяина.

— Ну, не до него теперь,—сказал дядюшка, сердито и вопросительно посматривая на племянника,— в делах запурхались.

Он снова правой рукой взялся за карандаш, а левой придвинул к себе счеты.

— Пусть посидит, подождет,— нарочито равнодушно сказал Николай и с радостью подумал: «Наконец-то!»

Он не слушал дядюшку, прикидывая, как бы прервать работу. Через несколько минут он сказал, приложив ладонь ко лбу:

— Что-то в глазах затуманило и в голове стучит. Не угорел ли? С утра сыро было — топили. Пойду лекарство выпью.

— Ну, а я пока без тебя обмозгую кое-что,— сказал дядюшка, с азартом выписывая на бумагу длинные столбцы цифр.

На крыльце Николая ждал Матвеев.

Николай повел его в сад, в беседку. Там они сели на почерневшую подковообразную скамью, опоясывающую такой же почерневший овальный стол, и Николай забыл про дядюшку, про свои обременяющие капиталы и одиночество.

Матвеев зорко оглядел все вокруг, убедился, что подойти к беседке незамеченным никто не сможет, заговорил, все же понижая голос и наклонясь к Николаю:

— Николай Михайлович! Решили мы побег устроить Завьялову. Видно, на той неделе будут его из следственной тюрьмы в городскую переводить. С кем надо, мы связались. Документы для него добыли. Отправим прямым ходом в Петербург. А там — за границу. Нужны деньги. И большие. От тебя все зависит теперь.

Он замолчал, выжидательно поглядывая на Николая умными, проницательными глазами.

— Все, что имею, в вашем распоряжении,— с радостным волнением сказал Николай.— Одна трудность: если я возьму в банке большую сумму, об этом узнают дядя и служащие...

— Придумаем повод. Но деньги нужны немедленно. Завтра. Крайне — послезавтра.

И вдруг глаза Матвеева озорно блеснули. Сдерживая смех, он воскликнул:

— Храм божий можешь в родном городе построить, увековечить память миллионеров Саратовкиных!

— Да все знают, что я не очень...

— То и я знаю, что ты не очень,— засмеялся Матвеев, вспоминая разговор с барином на прииске.— Ну, скажем, ночью святая богородица явилась или там Николай-угодник. А то и просто: видение какое было, и совесть заговорила в тебе, что не блюдешь божье учение. Нет, это здорово, Николай Михайлович, ей-богу, здорово! — довольно потирал руки Матвеев.

И Николай загорелся этой идеей. Он придумывал разные варианты. Остановились на том, что ночью ему явилась Анастасия Никитична... Покаялась, что отправила родную мать Николая в монастырь, со свету сжила. И пожелала, чтобы во искупление этого греха сделал Николай большой дар монастырю, где скончалась его мать — монахиня Евфросинья. Николай сам повезет деньги, а по дороге на него нападут грабители.

Разговор прервал десятилетний Ванятка — сын дворника. Он давно уже искал барина, вначале в доме, потом по саду.

— Барин! Вас Митрофан Никитич спрашивали.

— Скажи, что скоро приду,— ответил Николай.

Ванятка убежал, мелькая грязными пятками. Николай опять забыл о дядюшке, который в эти минуты, собирая бумаги и счета, думал с неприязнью:

«Права была Настасья, когда говорила, что кровь не переменишь. Простая к простой и тянется. Вырос Николай в барстве. Но как сойдется с простолюдином — не оторвешь».

А Николай и Матвеев продолжали оживленно беседовать.

— Что это вы, политические, все с длинными волосами да бородами? — усмехаясь, поинтересовался Николай.— Коли форма такая, то неосторожно всем на один лад!

— Какая там форма! Кто как. А я на случай. В подполье уйду — сбрею. Узнать труднее будет.

Николай попытался кое-что выяснить о подпольщиках, но заметил односложность ответов Матвеева. «Или не доверяет, или не положено»,— подумал он.

— Это ты в ту ночь помог цыгану и внучке поварихи бежать? — спросил Николай.

— Я,— усмехнулся Матвеев.— Думал, любовная история.

— Ну, и где же они, знаешь?

— Слыхал, что искали золото. Упорно искали. Бродили в горах. Там же цыгана кто-то порешил. План, сказывают, выкрал у них кто-то. Из тайги, говорят, Любава одна вернулась, чуть живая. А где теперь она, не знаю. Панкратиха тоже на приисках не осталась. Может, померла. Я-то думаю, что Любава и отправила на тот свет цыгана, чтобы не мешал золото искать. Девка была особая. Вроде ведьмой ее считали.

Николай молчал. Как всегда, при воспоминании о Любаве, он ощутил глубокую тихую грусть.

Он расстался с Матвеевым, договорившись, что через два дня за деньгами придет человек. Сам Матвеев не рисковал больше появляться у Саратовкина. Пароль будет такой: «Все деньги беднякам роздал. Одолжи, барин, на несколько дней».

На следующее утро Николай рассказал дяде о ночном видении и о своем намерении пожертвовать монастырю большую сумму. Митрофан Никитич возражать не стал, даже был рад: такое дело станет известным всей губернии, поднимет уважение к Саратовкиным. Это льстило его религиозным чувствам и было памятью сестре-покойнице.

Прошла неделя, но от Матвеева никто не приходил, и Николай стал тревожиться: не провалилось ли задуманное освобождение учителя.

Как-то утром к нему пришел отец Терентий. Николай давно не видел старика и обрадовался ему.

Отец Терентий, как всегда, перекрестился, глядя на пустой угол, укоризненно покачал головой, потом сел на стул.

Поговорили о городских новостях, и только было собрался Николай сообщить о видении и пожертвовании монастырю, как отец Терентий сказал:

— А я к тебе с просьбицей, Николушка. С просьбицей. Не знаю, как и приступить.

— Вы же знаете, отец Терентий, что вам я ни в чем не откажу.

— Ну и ладно. Так вот, я тут все деньги беднякам роздал. Одолжи, Николушка, на несколько дней.

Николай с изумлением смотрел на отца Терентия. «Что это, совпадение? — думал он.— Не может же священник быть революционером! С ума схожу я, что ли? Но почему пароль прозвучал как-то не так... Вместо «барин» он сказал «Николушка».

Отец Терентий проворно вскочил, расправил рясу, встал, сложив на животе руки, в позу, которую он всегда принимал во время проповедей, и повторил:

— Все деньги беднякам роздал. Одолжи, барин, на несколь-

ко дней.— Он сделал нажим на слово «барин», сверля Николая умными маленькими глазками, потом шагнул к нему, обнял за плечи и тихонько засмеялся счастливым смехом.

А через день вся полиция города была на ногах. Произошло неслыханное: священник Успенской церкви Терентий Иванович Лебедев бродил по лесу в поисках лекарственных трав и в глухих зарослях обнаружил связанного миллионера Саратовкина с кляпом во рту. В газете писали, что нападение было совершено большой группой вооруженных разбойников, похитивших у Саратовкина крупную сумму денег, которую промышленник вез в монастырь для пожертвования.

Не успели стихнуть в городе толки, вызванные этим ограблением, как произошло другое событие: когда перевозили в тюрьму опасного политического преступника, на конвой напал отряд вооруженных людей. Они связали конвоиров и скрылись вместе с преступником.

Несмотря на то что операция была продумана Матвеевым, отцом Терентием и Николаем до деталей, «накладок» в ней все же не избежали.

Когда Николая Саратовкина в коляске привезли из леса домой, слуги повысыпали во двор встречать его. Старый конюх Маркел сказал:

— А уехал-то ты, барин, верхом. Конягу разбойники забрали?

Николай утвердительно кивнул.

Маркел засмеялся:

— Будто знал, что заберут. Помнишь, я Звездочета оседлал, а ты велел другого коня подать. Повезло!

«Вот так народ! Подметит всякую оплошность»,— подумал Николай, исподтишка оглядывая встречающих. Но иных чувств, кроме жалости к нему и радости, что вернулся он невредимым, Николай не прочел на лицах своих людей, таких знакомых еще с детства, почти родных. Только показалось ему, что следователь Рябушкин — тонколицый интеллигент, который вместе с начальником полиции оказался тут же, среди встречающей его дворни,— не пропустил мимо ушей слов Маркела.

А назавтра в газете бойкий писака сообщал: «Можно предположить, что ограбление Н. М. Саратовкина и нападение на конвой совершили одни и те же лица, т. е. политические».

Ни Матвеев, ни отец Терентий больше не приходили. И Николай не рисковал идти в Успенскую церковь. Ему казалось, что он на подозрении, и держал себя крайне осторожно.

17

Зоя Кириллова, та самая девятиклассница, спор которой о Лизе из «Дворянского гнезда» Тургенева слышал в библиотеке Николай Михайлович, через некоторое время уже поняла, почему Лиза ушла в монастырь, и перестала считать ее дурочкой. Она не раз вспоминала слова Ольги Николаевны: «Придет жизненный опыт, и ты поймешь...»

«Теперь понимаю»,— с грустью думала Зоя, не решаясь поведать о том, что с ней произошло, даже самым близким подругам.

Впрочем, в классе всем уже было известно, что Зойка Кириллова «стреляет» за десятиклассником Денисом Шмыгой, новеньким, приехавшим недавно из Киева.

Соперниц у Зойки было немало. Шмыгу сразу же заметили все девчонки старших классов. Был он высок, цыганского типа: орлиный нос на смуглом лице, черные, мерцающие романтическим блеском глаза, густые брови вразлет и дерзкие губы. Выглядел он не мальчишкой, а взрослым. Да и годами был старше одноклассников: по болезни когда-то отстал от одногодков. Ходил Шмыга, в отличие от всех мальчишек, в сапогах, по школьным правилам переодевал тапочки, и брюки, обычно заправленные в сапоги, висели на нем смятыми. Но его ничто не портило. В классе он сразу же стал своим, точно проучился в этой школе все девять лет.

Денис Шмыга обратил внимание на Зою Кириллову во время новогоднего школьного вечера. До этого он ее не замечал.

Ученики написали веселую инсценировку, в которой у Зои была маленькая роль. Она изображала русалку, сидящую на ветвях дуба «у лукоморья». Ей нужно было расче-

сывать распущенные ниже колен волосы гребнем, обернутым золотой бумагой.

Дениса заинтересовало, почему Зоя не стрижет, как все девчонки, волос и что она будет делать с ними, когда перестанет быть русалкой. Не закутается же в них, как в шаль!

Начались танцы, и Денис, стоя у стены, взглядом искал Зою. Она танцевала с каким-то мальчишкой. На спине ее лежала туго заплетенная толстая русая коса, опускаясь ниже расклешенной коричневой юбки. Совсем как у гимназистки прошлого века!

Школьный струнный оркестр заиграл вальс, Денис подошел к Зое.

Это было для нее так неожиданно, что она растерялась. Покраснела и не знала, как ответить на его смешливое:

— Про́шу, па́ни!

Но он уверенно обвил рукой ее тоненькую талию и повел по кругу не то в вальсе, не то в фокстроте. А коса, которая так заинтересовала его, то и дело прикасалась к его руке.

Он, не стесняясь, лицо в лицо, разглядывал свою «даму» и мысленно охарактеризовал ее внешность так: «Совсем девчонка, заморыш, худа, бледна, лицо, как у лисички, длинное, остренькое. Глаза светлые, неопределенного цвета, раскосые. В общем, миловидна. И главное, чувствуется, что существо мыслящее».

— Тебя как зовут? — улыбаясь, спросил он.

— Зоя,— уже успокаиваясь и замечая завистливые взгляды девчонок, ответила она.

— Скажи, Зоя, тебе не тяжело носить такую копну волос?

— Я привыкла.— Она усмехнулась и подумала: «Всех мальчишек занимает это!» — А что, некрасиво? — спросила она и в танце обошла вокруг него, подняв над головой руку, сцепленную с его рукой.

— Необычно,— ответил он, подвел ее к стульям у стены, посадил и сел рядом. Весь вечер Денис не отходил от Зои и даже проводил ее до дому.

Потом шли дни, но Денис словно забыл о ней. В перемены она с подругами намеренно ходила мимо его класса, где он стоял среди одноклассников. Он не замечал ее.

Как-то встретились они на лестнице. Он поздоровался и прошел мимо. Зоя узнала, что Денис ходит в танцевальный кружок, и тоже записалась. Но когда пришла на за-

нятие, там не оказалось ни одного десятиклассника. Руководительница кружка сказала:

— Теперь им уже не до танцев.

И Зоя больше туда не ходила.

Она стала рассеянной в классе, а дома сядет за стол с самыми лучшими намерениями и вдруг примется вспоминать во всех подробностях тот новогодний вечер. Опомнится, посмотрит на часы — времени на уроки осталось мало, все равно всего не выучить. Со вздохом достанет из стола дневник, прочитает описание новогоднего вечера, допишет: «Он меня по-прежнему не замечает. Видела издали. Веселый. Всю перемену разговаривал с Таней Сорокиной. Самая красивая девчонка в их классе. Наверное, она ему нравится. А эта Танька такими глазами на него глядела, что у меня дыхание перехватило. Что же мне делать с собой? Как забыть его? Как научиться не выдавать своих чувств? А то сегодня наш Сашка, который все на свете видит и знает, значительно глядя на меня, спел:

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось...»

Зоя тщательно прятала дневник, и все же он попал в бабушкины руки. Последнее время Дарью Григорьевну беспокоили бледный вид и вялость внучки. Она сводила девочку в поликлинику. Доктор ничего не нашел. На всякий случай прописал витамины.

А Зоя в тот вечер как бы в ответ на бабушкину заботу процитировала в дневнике:

Ах, няня, нет, я не больна,
Я, знаешь, няня, влюблена.

Но рядом с Зоей не было такой няни, которой можно было бы признаться во всем и даже отправить с ней любовное письмо Денису. Бабушка была бдительна и строга. Зоины родители работали за границей, и бабушка отвечала за внучку. Она день и ночь была начеку, как часовой.

Вскоре бабушку вызвала в школу классный руководитель Зои. Оказывается, девочка стала хуже учиться. Вот тогда-то Дарья Григорьевна добралась и до дневника. Прочла и ужаснулась.

Ночью она не спала, пила капли Вотчела, ставила горчичники к сердцу. Хотела было вызвать по телефону ро-

дителей Зои, да побоялась напугать их. Она вдруг вспомнила восторженные рассказы внучки об учителе Грозном, который преподавал в ее классе историю, и решила посоветоваться с ним. Она созвонилась с учителем и пришла к нему в тот час, когда Зоя маялась дома над уроками, то перебирая учебники, то возвращаясь к дневнику.

Грозный встал и шагнул навстречу Дарье Григорьевне. Она показалась ему женщиной еще не старой, но уже отцветшей, на всем ее облике лежала печать мудрого отрешения от собственных интересов.

«Живет, видно, детьми и внучкой»,— подумал Грозный, невольно проникаясь уважением к ней.

— Садитесь вот сюда, пожалуйста,— показал учитель на один из двух стульев, стоявших в углу учительской. Сам сел на другой стул.— Сейчас прозвенит звонок, учителя разойдутся по классам, и мы останемся с вами наедине. Как я понял, дело у вас ко мне сугубо личное.

Действительно, зазвенел звонок, учителя, забирая с полок шкафа классные журналы, стали расходиться.

Дарья Григорьевна, волнуясь, взяла предварительно с учителя честное слово, что беседа эта останется между ними. Грозный кивнул с таким видом, точно сказал: «Не стоит и предупреждать. Само собой разумеется». И, поверив, что он действительно сохранит тайну, Дарья Григорьевна немного успокоилась. Она шла сюда с колебанием, был момент, когда хотелось повернуть обратно. А вдруг Грозный сочтет нужным ввести в курс дела других учителей и, чего доброго, поставит этот вопрос на педагогическом совете?

Дарья Григорьевна начала свой разговор с учителем так:

— Несчастье у меня, Николай Михайлович, с Зоенькой произошло.

— Какое несчастье?

— Влюбилась девочка.

— Влюбилась? Сколько ей лет?.. Шестнадцать! Ну что же, самая пора влюбляться. Вы, поди, тоже в шестнадцать лет были влюблены? — с улыбкой спросил он.

— Я? Не помню что-то! — растерялась Дарья Григорьевна, однако в памяти ее на мгновение возник образ черноглазого одноклассника.

— Разве же это несчастье? Знали бы вы, какие несчастья бывают с учениками!..

— Но вы выслушайте меня.— И Дарья Григорьевна рассказала все, что она узнала из дневника внучки. Она рассказывала и замечала, что учитель мрачнеет. И когда остановилась, он сказал после недолгого молчания:

— А вот читать дневник девушки, ее письма не советую. Это — слишком личное, не для другого человека...

— Но иначе я ничего бы не знала, а девочка сохнет на глазах, учиться стала хуже. Я ее в поликлинику веду, моргаю глазами перед классным руководителем и не знаю, в чем дело. Нет, в этом я с вами не согласна, Николай Михайлович.

Грозный пожал плечами: дескать, ваше право не соглашаться.

— А третьего дня этот самый Денис Шмыга, как пишет она в дневнике, встретил ее у вешалки и говорит: «Пойдем, Зоя, в кино, у меня на дневной сеанс два билета». Ну, она, конечно, с ним в кино. Он в темноте ей руку погладил, к плечу прижался. А назавтра прошел мимо, даже не поздоровался. Издевается над девчонкой! А та плачет. Ночи не спит!

Казалось, бабушке было обиднее всего, что какой-то мальчишка забавляется чувством ее внучки. Сох бы парень по ней и сам ночей не спал, может, не так бы волновалась она за эту нежданную любовь.

— В этом возрасте мальчики очень сложны и замкнуты,— помолчав, сказал Николай Михайлович,— пожалуй, больше девочек. Девочки хоть с подругами делятся своими переживаниями. А у мальчишек все в себе. Может быть, Денис тоже любит Зою. Я допускаю это. А может, забавляется. Тоже допускаю. Вниманием девочек он избалован изрядно. Парень что надо — красивый, умный, способный к учению да к тому же поэт. Но есть и третий вариант: возможно, что любовь ему вообще еще незнакома. Потому он сегодня одной девочке отдает предпочтение, завтра — другой. Но, думаю, зря вы так тревожитесь, Дарья Григорьевна. Внучка ваша сейчас охвачена таким красивым, таким большим и чистым чувством, которое потом, когда пройдет, останется одним из самых светлых воспоминаний в жизни.

— А может быть, вы поговорите с ней и с этим Денисом Шмыгой?

— Нет, Дарья Григорьевна, в такие переживания вмешиваться нельзя. Вот если я увижу, что надо бить тревогу,

тогда вмешаюсь какими-то путями. А пока буду наблюдать... А вы в дневник ее все же не заглядывайте. Не оскорбляйте внучку недоверием.

— А как же тогда вы и я узнаем, что надо бить тревогу? Можем и проглядеть!

— Можем и проглядеть. И так иногда бывает. Но постараемся все же не проглядеть. Что-нибудь я придумаю...

Дарья Григорьевна ушла из школы не успокоенная. Она думала, что Грозный согласится на то, чтобы поговорить с девчонкой, пригрозит, отчитает ее за несвоевременность какой-то любви. Учиться надо, а не любовь крутить! А оказывается, все гораздо сложнее. Пригрозить-то и нельзя: запретный плод слаще. Любовь в шестнадцать лет своевременна и даже прекрасна! И дневник читать нечестно. А что делать, если внучка бабушке душу не раскрывает?

Так, в раздумье, она чуть не прошла мимо дома.

А Грозный, проводив Дарью Григорьевну, сидел в учительской и раздумывал над ее словами: «А как же тогда вы и я узнаем, что надо бить тревогу? Можем и проглядеть!»

Проглядеть действительно нельзя.

Он не услышал звонка и вздрогнул, когда в учительскую с портфелем в руке и классным журналом под мышкой вошла Ольга Николаевна, а за ней легкий на помине Денис Шмыга. Денис нес стопку тетрадей. Он положил их на стол и вышел.

Николай Михайлович знал, что учительница наверняка не просила Шмыгу помочь. Она, привычно взяв в одну руку портфель, другой, прижимая к себе, собралась нести и журнал и тетради, и никому из учеников, как всегда, не было дела до того, что учительнице и тяжело и неудобно, а Шмыга заметил. Недаром его окрестили «рыцарем».

Ольга Николаевна устало присела рядом с Грозным и сказала:

— Любопытный все же тип, этот Шмыга! В домашнем сочинении, по рассеянности, оставил стихи. Называются: «Зое, через год после окончания школы». Я запомнила несколько строчек:

Так же всё уплывают года.
Тот же дней мимолетный бег.
Неужель не придется уже никогда
Пожелать мне толкнуть тебя в снег...

Неужель не придется еще мне хоть раз
Видеть пару влюбленных глаз?

Тут я не помню. А кончается так:

Это было давно, но как будто вчера
Это было, но правда ли это?
Расцветало ль надеждой и счастьем тогда
Сумасшедшее сердце поэта?

«Значит,— подумал Грозный,— любовь обоюдная».

— А сколько, Ольга Николаевна, таких стихов пишут наши воспитанники? Ведь большинство из них уже с восьмого класса, а иногда и с седьмого даже как-то по-своему влюблены. Не думаете ли вы, что стоило бы для старших устроить диспут о любви, подготовиться к нему основательно учителям и ученикам? А пока я бы на вашем месте, не откладывая, на эту же тему побеседовал с десятым «А» в «Избе раздумий». Если разрешите, я тоже посижу с вами. Беседу вести, конечно, нужно вам, литератору. Тут и литературные примеры...

— Да, литература ближе всего связана с воспитанием,— задумчиво сказала учительница.— Но почему, помимо общего диспута, вы предлагаете провести эту беседу отдельно с десятым «А»? И главное — срочно. Что-то случилось?

— Нет, ничего не случилось. Но родители одной девочки беспокоятся за нее. Любовь к ученику десятого «А». Просят принять меры. А какие же мы можем принять меры, когда речь идет о сложном душевном переживании девушки и парня? Только одно — постараться, чтобы чувства их были наполнены красотой, прозрачной чистотой и святостью. И это, я думаю, мы с вами сумеем.

Эх, Зойка, Зойка! Знала бы ты о том стихотворении, которое забыл в тетради своей Денис Шмыга! Как счастлива была бы ты!

А через год после окончания школы, когда по задумке своей он должен был передать тебе этот стих, Шмыга, уже будучи студентом, сочтет это теперь несвоевременным и ненужным. И ты так никогда и не узнаешь, что в те прекрасные и горькие для тебя дни «расцветало надеждой и счастьем тогда сумасшедшее сердце поэта».

18

Николай Михайлович раньше своих учеников подметил, как страсть к работе в архиве у «разведчиков» постепенно охладевала.

И вот на заседании кружка, когда в историческом кабинете Семен занял учительское место за столом, а остальные — их пришло чуть побольше половины — разместились в разных концах класса, Николай Михайлович поднялся и сказал:

— Ну вот что, друзья, в архиве мы посидели изрядно. Добыли важный документ. А теперь я предлагаю заняться поиском не бумаг, а живых людей, знавших Саратовкиных или хотя бы связанных с той эпохой. Как и где искать этих людей, с чего начинать — думайте сами.

Слова учителя, как любое значительное и новое предложение, ученики встретили молчанием. Юность ершиста. Как же хочется в эти годы наперекор мыслям и деяниям взрослых выставлять свои — противоположные. Но человек в отрочестве — в общем-то сложившийся человек, со своими особенностями, уже почти такой, каким пройдет он по жизни. Значительная встреча, конечно, может осветить, приукрасить его жизнь, и, наоборот, неверный шаг затянет в трясину. Все может быть!

Среди тех, кто собрался сейчас в историческом кабинете, конечно, были и такие, кто не очень-то любил самостоятельно размышлять. Что скажет сосед, то он и примет на веру — из чувства подражания или чтобы не оказаться в изоляции от товарищей со своими особыми взглядами. Но большинство здесь таких, кого собственные мысли захлестывают: одна еще не устоится, а уже охватывает другая. Быстро-быстро, горячо, с энтузиазмом.

Молчание, как всегда, разрядилось бурей.

Семен в это время старался перекричать товарищей.

Николай Михайлович покинул класс.

— Слово имеет Ковригина! Ну, дайте же человеку высказаться,— уговаривал Семен бушующих ребят.

А Наталья стояла у доски и взывала к одноклассникам взмахами рук и сиянием глаз.

Наконец по ее виду ребята поняли, что она, как всегда, придумала что-то интересное, и смолкли.

— Кладбище!..— таинственно произнесла она и мелом нарисовала на доске могилу и крест над ней.

— Ну, иначе это была бы не Наташка-Коврижка,— с ехидцей сказал Никита Пронин.— Салоны... Спиритизм... Мессинг... Кладбище!

— Да, кладбище! — крикнула Наталья.— Похоронен-то младший Саратовкин там. И скорее всего, возле родителей...

Не успела она докончить мысль, как все повскакали с мест и были готовы сейчас же мчаться на кладбище.

И помчались. Почти сшибли с ног Дашу, которая вдогонку им послала, правда, не очень злобно: «Обормоты трахнутые!» То ли она еще видела в этих стенах! Ко всему привыкла.

А на кладбище было все как иллюстрация к рукописи Николая Михайловича. Покосившийся домишко у ворот они разглядывали до тех пор, пока не вышел сторож, прихвативший в сенях толстую палку. Он сердито и настороженно спросил:

— Чего глазеете?

А им казалось, что сейчас шевельнется занавеска и глянут на них огромные блестящие глаза Любавы. И по шатким ступеням крылечка спустится Панкратиха.

— Простите, пожалуйста,— вежливо сказала Лаля.— Не подскажете ли вы нам, в какой стороне склеп миллионера Саратовкина?

— Саратовкина? — удивился старик.— Туды! —Он махнул палкой вправо.

— Позвольте, гражданин сторож,— еще вежливее сказал Никита,— а вы, случайно, не знаете, сын Саратовкина Николай Михайлович где похоронен?

— Где? Вестимо, возле батюшки! — Старик явно подобрел и даже вроде засобирался проводить школьников, но когда он, прикрыв дверь, обернулся, ребят как не бывало.

Они тем временем уже мчались в направлении, указанном сторожем.

— Вот! — закричали враз несколько голосов.

И все остановились возле черного мраморного склепа, на верху которого сиял золоченый крест, над дверью были высечены слова из Библии: «Да будет воля твоя!»

И снова всем показалось, что где-то рядом стоит Любава, завернутая в смешной длинный салоп, гордая своей нищетой, а рядом с ней — Николай в щегольской шубе и бобровой шапке, униженный своим богатством.

— Наш Грозный, конечно, здесь бывал, прежде чем на-

писать главу «Ведьма»,— сказал Семен.— Все так, как у него,— и склеп и слова эти...

— Ребята, а ведь дверь склепа открывается,— нажимая на нее плечом и чувствуя податливость камня, сказал Никита.

Попробовали дружно навалиться на дверь. Мгновение— и все лежали кто на земле около склепа, кто на ступеньках, ведущих в склеп.

Склеп оказался совсем маленьким. Спертый воздух. Покрытые плесенью стены. Две каменные плиты рядом. На одной надпись: «Михаил Иванович Саратовкин», на другой: «Анастасия Никитична Саратовкина». Третьей могилы не было.

— А я думала, в склепе — гробы и в них мертвецы. Я так боялась заходить сюда,— шепотом сказала девочка, которая вне школы всегда ходила в брюках, и прохожие принимали ее за мальчишку.

Все сразу в склепе не могли поместиться. Заходили по очереди, стараясь не шуметь, не нарушать вековой мертвой тишины. Сквозь весенние полуголые ветви с липкими, еще не развернувшимися листочками видно было далеко вокруг: могилы, ухоженные заботливыми руками близких, с покрашенными оградами, присыпанные песком или гравием дорожки возле памятников, надгробий и крестов, и могилы, заброшенные нерадивыми родственниками, с провалившимися плитами, поваленными оградками, заросшие прошлогодним бурьяном, превратившиеся просто в бугорки, по которым пролегали тропинки.

Походили вблизи склепа Саратовкиных. Прочли на одном памятнике надпись: «Лукерья Ивановна Попова. Родилась 13 мая 1799 г. Умерла 4 июля 1837 г.»

— Надо же! — сказал Никита.— Даты жизни и смерти Пушкина!

Все остановились как зачарованные.

Кладбище навевало незнакомую грусть, заставляло заглядывать в обреченность любой человеческой судьбы. Хотелось поскорее вырваться отсюда, забыть эту обреченность, как умеет забывать о ней любой человек, особенно в молодые годы.

— Никакой могилы младшего Саратовкина здесь нет. Пошли, ребята,— сказала Лаля.

— Нет, подожди. Старик сказал: «Возле батюшки»,— не согласился Семен.— Он говорил так, словно знал. Вы

еще побродите тут, а я его позову. Нет, пусть лучше сбегает кто-то из девочек.

Лаля с Натальей торопливо пошли по чуть заметным тропинкам на дорогу, ведущую к дому кладбищенского сторожа.

Старика они встретили у ворот. Он волочил тяжелую жердь и, узнав девочек, положил ее на землю, рукавом отирая с лица пот.

— Не приметили, однако? — сказал он и, широко шагая, направился к склепу Саратовкина.

Девочки молча припустились за ним.

— А это что? — сказал он.

И вдруг все увидели заброшенный, когда-то покрытый дерном холмик, прижатый вплотную к черному мрамору склепа. В изголовье холмика был вбит неровный странный камень, и, только приглядевшись, можно было различить на камне слова: «Народный учитель Саратовкин Николай Михайлович». Дата рождения и смерти вместе с камнем опустилась в землю. Мальчишки, вспомнив, как это делают в подобных случаях взрослые, стянули с голов кепки. Постояли молча.

— Ребята,— вдруг сказала Наталья, склоняясь над могилой.— Сюда кто-то приносил цветы.

На сухой траве действительно лежал высохший букет. Вернее, следы того, что когда-то было букетом цветов: почерневшие стебли, облетевшие головки цветов и лоскут полинявшей ленточки.

— И не раз кто-то приносил сюда цветы! — воскликнул Никита.— Смотрите, вот сухие букеты. Раз, два, три, четыре...

Наталья спросила у сторожа, кто же это приносит цветы.

— Не слежу... Людей по кладбищу ходит много,— ответил тот.

— Товарищ сторож! А вы последите. Мы очень просим вас,— сказал Семен.— Это так важно для нашей школы.

— Для истории города тоже,— вставила Наталья.

— У меня времени нет заниматься школой и городом. На это учителя есть и горисполком. Они деньги не зря получают,— сердито ответил сторож и ушел.

— Вот тоже тип! Все на деньги мерит! — презрительно фыркнул Семен.— А зарабатывает побольше нашего Грозного. Знаю я! Могилу поправит — гони монету.

— Однако как нам быть дальше? — сказал Никита.— Как отыскать того, кто навещает могилу, ведь, наверное, этот человек хорошо знал Саратовкина.

— Ясно как,— сказала Наталья.— Надо установить дежурство.

— С ума сошла! — ахнула белокурая Аэлита.— Этот человек может месяца через три прийти, и не известно, в какое время.

— Дежурить три месяца,— твердо сказала Наталья.— Дежурить полгода. Год, наконец! Вот, например, сейчас остаюсь я дотемна. К ночи никто на могилы не ходит. А завтра с восьми утра будешь ты до половины дня,— обратилась она к Аэлите.

— Нет, она совсем сумасшедшая! — всплеснула та руками.— А в школу кто вместо меня пойдет? Бабушка?

— В школу все мы пойдем, кроме тебя. А про тебя скажем, что ты заболела. Выделим от класса представителя проведать тебя и уроки сообщить.

— Да. Другого пути нет! — торжественно сказал Семен.— И Николаю Михайловичу пока ни слова. Разведаем все, тогда материал поднесем на блюдечке!

И Наталья осталась на кладбище.

Не выпуская из виду могилу Саратовкина, она ходила по тропинкам, останавливаясь и читая надписи. Вот ухоженная могила с маленьким памятником. Вокруг аккуратно посыпано гравием. В оградке скамейка и зачем-то стол. С фотографии, вставленной в памятник, озорными глазами глядит десятилетний мальчишка. Добрая улыбка освещает хорошенькое личико. «Володя Сыроежкин». Еще в прошлом году он вот так глядел. Так улыбался. А теперь лежит под этим холмиком, и горько оплакивают его родители, может быть, сестры, братья. Как несправедлива судьба! Наташе стало грустно. Стало страшно. Ведь когда-то и над ней вырастет вот такой же холмик. Кто знает, когда?

— Все в землю ляжет, все прахом будет,— вслух сказала она.

А на ветку, еще почти голую, с чуть показавшимися клейкими листочками, села маленькая, неказистая птичка. Вначале она пискнула хрипловато, точно прочищая горлышко или пробуя голос, настраиваясь. Потом издала звонкий, протяжный звук, точно скрипач провел смычком по двум струнам. Помолчала. Защелкала призывно, жизнеутверждающе. И вновь замолчала, точно прислушиваясь и

выжидая чего-то. Откуда-то издали ответил ей другой пернатый певец отрывистыми, разнообразными, гортанными звуками.

Наташа замерла. Она поняла, что это соловьи, и вспомнила, как не раз приезжие утверждали, что в Сибири соловьев не бывает.

Небо было высокое и ясное, а солнце ушло на закат, разрумянив стволы весеннего леса, сверкнув на позолоте крестов, памятников и склепов.

Нет, все равно жизнь была необыкновенно хороша. И еще лучше показалась она, когда возле Наташки появилась запыхавшаяся Лаля.

— Ну, вот и я! — И это было так естественно. Не могла же она оставить надолго Наташку одну в таком грустном месте.— Замерзла! Нос красный! — суетилась Лаля возле подруги, теплой ладошкой прикасаясь к ее носу.— Я-то успела заскочить домой и брюки надела.

«Разведчики» дежурили на кладбище уже больше двух недель. И у многих пропадало желание проводить время у могилы Саратовкина.

Школа готовилась к экзаменам. Взволнованные группы десятиклассников собирались в коридорах, на широком крыльце, во дворе, просто на улице. С меньшим волнением, но все же неспокойно ждали первых экзаменов и восьмиклассники.

Дежурства на кладбище теперь разбили «на кусочки». Каждый проводил здесь по два часа. И большинство — с учебником в руках. От Николая Михайловича по-прежнему скрывали тайну. Но его трудно было провести. Систематическое исчезновение с уроков кого-нибудь из учеников на два часа по сугубо уважительным причинам наводило его на подозрения. Но он не мог догадаться, в чем дело. Он уверен был, что дурного в этом ничего нет, и терпеливо ждал разгадки, как всегда, не делясь этим с учителями.

Счастье улыбнулось Никите.

Он сидел на скамейке возле могилы, которая принадлежала какому-то Алексею Сергеевичу Разумовскому, как гласила черная мраморная плита. Никита держал на коленях книгу, на книге тетрадь и увлеченно доказывал теорему, не обращая внимания на изредка проходящих мимо людей.

Но вдруг он оторвался от тетради, точно кто-то толкнул его. Он поднял голову. На могиле Николая Михайловича Саратовкина были разбросаны свежие подснежники.

Никита остолбенел. Он смотрел то на подснежники — большеголовые, сочные, на мохнатых коротких стеблях, оживившие заброшенную могилу, то на высокого человека, который стоял спиной к Никите, распрямив широкие плечи, и держал в руках коричневую шляпу. Седые волосы его трепал легкий ветерок.

Незнакомец переступил с ноги на ногу, видимо, собираясь уходить. Никита мгновенно пришел в себя и осторожно приблизился к могиле Саратовкина, тоже снял кепку.

Незнакомец сразу заметил мальчика, но почему-то ничего не сказал. Так, в молчании, постояли они над могилой. Наконец незнакомец повернулся к Никите.

— Ну-с?

— Простите,— почти шепотом почтительно произнес Никита,— вы знали его?

— Я был его учеником. А отец мой, известный ученый,— воспитанник сиротского дома Михаила Саратовкина — его отца.

Он помолчал, ожидая дальнейших расспросов, а потом шагнул на тропинку, сказав:

— Ну, прощай. Тороплюсь.

Он медленно пошел по тропинке.

Никита, секунду постояв в недоумении, рванулся за ним.

— Дяденька! Подождите! Можно будет увидеть вас? Поговорить с вами. У нас в школе кружок «разведчиков». Мы собираем материалы по истории нашего города. Мы много материала нашли о Саратовкиных. Наш учитель истории пишет о нем книгу. Дяденька, пожалуйста!

Незнакомец остановился.

— А какая школа? Как фамилия вашего учителя?

— Грозный, Николай Михайлович!

— А! —весело сказал незнакомец.—Ну, скажи ему, что Сергей Федорович Веретенников был учеником Николая Михайловича Саратовкина. Он знает меня. Сговоримся.

— Спасибо, дяденька! До свидания! — крикнул Никита и, забыв про учебник и тетрадь, брошенные у вечного пристанища когда-то жившего на земле Разумовского, рванулся к товарищам, опережая незнакомца.



Глава из повести Николая Михайловича Грозного

ОТКАЗ ОТ МИЛЛИОНОВ

С быстротой молнии облетела город весть о внезапной кончине Митрофана Никитича. Горожане жалели его — не злобного, не заносчивого, горячего покровителя церквей и монастыря. С интересом прислушивались к высказываниям о том, кто же теперь будет заправлять миллионами Саратовкиных, ведь всем известно, что молодой барин на все дела смотрит сквозь пальцы, интересуется только сиротскими домами да своим учительским образованием.

Об этом же думал и Николай. Мысль, которая прежде только посещала, теперь укреплялась, зрела и захватывала все его существо.

Отказаться от капитала. Передать все сиротским домам и в один из них, тот, что находится здесь в городе, пойти рядовым воспитателем, получая за это жалованье.

Посоветоваться было не с кем. Последняя связь с подпольщиками оборвалась, так как Матвеева арестовали во время забастовки железнодорожных рабочих. Отец Терентий внезапно скрылся, сразу же после участия в митинге в общественном собрании.

А в городе было неспокойно. Так же неспокойно, как и во всей Сибири. По линии Сибирской железной дороги двигались

карательные экспедиции: одна из Москвы, под командой барона Меллер-Закомельского, другая — во главе с Ренненкампфом, из Маньчжурии. Каратели жестоко расправлялись с теми, кого подозревали в крамоле.

И тем не менее в полумраке кабинета, за столом, освещенным керосиновой лампой, с абажуром, изображающим полураспустившийся тюльпан, Николай читал номер нелегальной газеты «Забайкальский рабочий».

«Затаи в груди месть, вооружись, организуйся, пролетариат! За муки и позор своих товарищей, за стоны и вопли избиваемых, за убитых и замученных твоих братьев по делу. Ответь своему вековому недругу — самодержавию — могучим и страшным оружием — вооруженным всероссийским восстанием.

«Горе побежденным!» — воскликнем мы, когда победоносное восстание сметет все остатки царизма и когда народный суд сумеет найти всех залитых кровью побежденного на время народа».

Николай отложил газету, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Со стороны можно было подумать, что он спит. Но Николай не спал. Он мысленно разговаривал то сам с собой, то с Василием Мартыновичем, то с Матвеевым. Он по-прежнему восхищался ими, но его влекло другое. Вот недавно он узнал, что своим девизом сибирский миллионер Макушин взял лозунг: «Ни одного неграмотного!» Это его потрясло. Макушин сумел стать полезным людям. А он, Николай, хочет и не знает, с чего начать. Связаться с Макушиным? Но в душе Николая жило свое желание. Его девиз — не только обучать грамоте! Воспитывать человека — вот что самое важное. Наконец, он понял, сформулировал свое назначение в жизни. И ему стало легко, точно выбрался из трясины и встал на широкую дорогу, манящую просторами и новизной.

И город снова захлебнулся в потрясающих слухах: «Саратовкин продал золотые прииски. Все капиталы свои передал сиротским домам и сам стал начальником и воспитателем городского приюта».

В своем доме Саратовкин разместил детей, оставив себе лишь две комнаты.

Новая жизнь для него началась значительной встречей.

Николай сидел за столом, разбираясь в документах, когда кто-то легко стукнул в дверь и, дождавшись разрешения, решительно распахнул ее.

В комнату вошел невысокий молодой человек — светлоглазый, белобровый, скромно одетый, но сразу же обращающий

на себя внимание своей глубокой серьезностью, сосредоточенностью и покоем.

— Здравствуйте, Николай Михайлович! — сказал он с теплой и значительной улыбкой человека, который уже не первый раз встречает Саратовкина.

Николай встал, поздоровался и указал пришедшему на стул возле стола.

— Я только что приехал,— садясь, сказал незнакомец.— Окончил университет — и вот в родной город. Мое имя вряд ли что скажет вам. Я — Федор Веретенников.

В памяти Николая почему-то ожило детство.

— Я глубоко уважаю вас, Николай Михайлович,— продолжал между тем Веретенников.— И если бы мог быть полезным, с удовольствием предложил бы свои услуги. Я химик.

И Николай вдруг вспомнил: начальница сиротского дома ведет его через двор в мастерскую; и там, среди детей, стоит, упрямо склонив бритую голову, мальчик; красный от гнева мастер держит в руках книгу и сердито объясняет начальнице, что мальчишка, вместо того чтобы работать, прячется в кладовой и читает.

Николай улыбнулся:

— А я вспомнил вас! — И рассказал Веретенникову, как он в детстве произвел его в Ломоносовы, как разыскивал в сиротском доме и как потом утешил его Василий Мартынович, сказав, что занимается с мальчиком и постарается определить его в гимназию, на казенный счет.

Этот день был значительным днем в жизни Николая не только тем, что к нему наконец пришел человек, предложивший свою помощь в трудное время начала большой работы. Но еще и тем, что Николай в этот день обрел друга, который до последнего часа был рядом с ним — человеком одиноким, всю жизнь свою, душу, талант отдавшим грядущим поколениям.

Морозным зимним днем, когда лазурное небо безоблачно, а деревья палисадников поражают пушистой белизной куржака, по заснеженной городской улице со скрипом скользили сани. Конь бежал игривой рысцой. Кучер — в собачьей дохе, в меховых рукавицах и такой же шапке — слабым тенорком понукал коня, изредка приподнимаясь и для острастки покручивая кнутом над конским крупом.

В санях, закрыв колени медвежиной, ехал директор гимназии.

— Постой-ка, милый,— сказал он кучеру, прикасаясь к его плечу рукой в кожаной перчатке. И крикнул прохожему, шагав-

шему по тротуару: — Господин Веретенников! Прошу минуточку-с!

Веретенников в это время занес было ногу на высокое крыльцо бывшего особняка Саратовкина и остановился.

Сани со скрипом подъехали к крыльцу, и, откинув медвежью шкуру, на тротуар шагнул маленький, щуплый человечек в пальто и меховой шапке и тотчас же нацепил на нос пенсне, то ли для солидности, то ли действительно по близорукости.

Он снял перчатку, поздоровался с Веретенниковым и сказал:

— Простите-с, ради бога, за то, что задерживаю вас. Но вы так и не пришли с ответом, а обстоятельства не позволяют ждать. Гимназия. Сами понимаете-с!

— Не могу принять ваше предложение, Яков Яковлевич,— сказал Веретенников.— Определился сюда вот.— И он поднял голову и показал глазами на новую вывеску: «Приют».

— Простите, Федор Алексеевич, не понимаю-с. Вы же химик. А здесь не гимназия. Здесь маленькие и неграмотные дети. Кого же здесь учить химии?

— Будут грамотные и подрастут,— усмехнулся Веретенников.

— Но пока они подрастать будут, можно вам-то в гимназии поработать. Нам очень нужен такой преподаватель, как вы. И жалованье будет хорошее...

— Спасибо. Уже сговорился здесь.

— Простите,— не отставал Яков Яковлевич.— Вам этот молодой безумец совсем голову замутил. Неужто вы не заметили, что у него психика не в порядке. Отказаться от капитала в наши дни?! Миллионы кинуть приютам?! И остаться нищим! Непонятно, что он будет с этими подкидышами делать?

Глаза Федора Веретенникова потемнели от гнева. Он выпрямился и свысока поглядел на маленького директора, как на неразумное дитя:

— Нет, он не безумец! Он прекрасный и светлый человек, умный и дальновидный. Что он будет делать с этими, как вы выразились, подкидышами? Он уже делает. И делает святое дело. Пока что он возвращает им детство, которого они были лишены. Детство! Понимаете? Одного этого было бы достаточно, чтобы войти в историю нашего жестокого века. Но он, я убежден, сделает еще много такого, что подхватят лучшие люди нашего времени. Нет, Яков Яковлевич, я горд тем, что буду находиться возле человека, у которого, по вашему определению, «психика не в порядке». Пусть пока я не буду преподавать химию, но зато к тому времени, когда мне придется взойти на

кафедру, я здесь, возле него, научусь человечности и пониманию молодой души, умению не только обучать, но и воспитывать.

Якова Яковлевича немного смутили страстные слова Веретенникова. Он снял пенсне. Сунул его в нагрудный карман.

— Ну, что ж. Каждый — кузнец своего счастья,— сказал он.— Только пожалеете — поздно будет. У нас вакансия закроется.

Яков Яковлевич натянул перчатку и, холодно кивнув, полез в сани, под медвежину. А Веретенников легко, по-мальчишечьи взбежал на крыльцо.

Да, прежде всего сиротам надо было возвратить детство. Но это было особенно трудно, потому что оставалось сиротство.

Николай Михайлович начал с того, что уволил всех прежних воспитателей. Всех до одного. Он не обнаружил среди них людей с добрым сердцем и педагогическим даром.

Как часто в мыслях его возникал образ Василия Мартыновича! Есть же такие люди на белом свете! Но где их найти?

В первый день его пребывания на посту начальника и воспитателя из сиротского дома сбежало двое мальчишек.

Николай Михайлович с Веретенниковым долго размышляли над этим случаем. Веретенников вспоминал, как он также сбежал из сиротского дома Саратовкиных. Ночью перелез через высокий забор и брел потом по городу куда глаза глядят. Но у него была цель. Он хотел учиться.

— Может быть, и у них есть цель? Даже наверное. Что-то не устраивало их здесь,— говорил Николай.

— Что-то? Все не устраивало! Вот и сбежали.

Вечером в кабинет Николая Михайловича полицейский привел дрожащих от холода и страха мальчишек. Их поймали на плоту. Они гнали его по реке, на которой уже появились первые забереги и шуга.

Куда плыли они глубокой осенью, без копейки денег, в легких пальтишках, с карманами, полными сухарей? Саратовкин и Веретенников знали, что спрашивать об этом бесполезно.

Николай Михайлович только провел рукой по бритой голове одного из беглецов, сказал мечтательно:

— А весной мы сами такие плоты построим. И воровать их не нужно будет. Поплывем мы по реке в самую глубь тайги. Ночью причалим к берегу, разведем костер до самых звезд и будем слушать таежную ночь. А убегать не надо. Мы теперь по-другому заживем.

Мальчишки, ожидавшие ругани, карцера и даже порки,

изумленно переглянулись. А младший вдруг закрыл лицо грязными ладонями и заплакал.

Николай Михайлович привлек его к себе и сказал дрогнувшим голосом:

— А на рождество елку устроим с маскарадом. Хочешь, тебе сделаем костюм вроде барабана? Из картона и золотой бумаги. Весь влезешь в барабан, только ноги будет видно. Для глаз — дырочки. А он,— Николай Михайлович показал на старшего мальчишку,— в костюме барабанщика палочками будет колотить по твоим картонным бокам: тра-та-та-та-та! Тра-та-та!

Мальчик отнял ладони от лица, сквозь слезы с удивлением и радостью взглянул на начальника и улыбнулся.

— Ну вот. А теперь бегите ужинать... Да, ужина-то уже нет. Поздно. Пошли вместе, что-нибудь раздобудем.

И, обняв ребят, он повел их в столовую. В дверях, обернувшись, сказал Веретенникову:

— Федор Алексеевич, запиши там, на календаре, поближе к рождеству насчет барабана.

Федор Алексеевич подошел к столу, на котором лежал календарь, сел на место начальника и долго сидел в задумчивости. Потом обвел кружком «15 декабря», черту от кружка вывел на поля календаря и написал: «Барабан из золотой бумаги».

Немало писем получал Николай Михайлович в первые месяцы своей работы. Письма были разные. Среди них много анонимных. Всю почту он раскладывал в две папки. В одной лежали письма от тех, кто одобрял его поступок, желал успеха в трудном деле. Некоторые предлагали свои услуги. Этих людей он приглашал для беседы и из их числа уже троих взял воспитателями в приют.

В другой папке лежали анонимные письма. Главным образом от богатых П-ских купцов, которые возмущались поведением молодого капиталиста, отказавшегося от состояния, считали, что к работе с детьми его никак нельзя допускать, а нужно заточить навечно в дом умалишенных. Некоторые убеждены были, что поступок Саратовкина — типичная революционная пропаганда и самому ему место в Александровском централе.

Письма волновали Николая Михайловича. Он понимал, что власти следят за ним недремлющим оком. Но то, что он раньше даже недооценивал всей серьезности своего положения, понял только после визита следователя Рябушкина.

— Так вот и живете теперь, Николай Михайлович? — спросил Рябушкин, оглядывая скромную обстановку кабинета.

— Так и живу.

— Не раскаиваетесь?

— Не раскаиваюсь.

— Ну, так-то оно честнее.

— Честнее, чем что? — хмурясь, поинтересовался Николай, сдерживая желание схватить за шиворот тщедушное, белоглазое существо, именующее себя человеком, выкинуть его на лестницу и потом вымыть руки.

— Ну... честнее, чем укрывать от властей в своем доме революционеров... Честнее, чем отдавать целое состояние на побег политических из тюрем и разыгрывать нападение разбойников.

«А он, оказывается, неглуп и дальновиден»,— подумал Николай, с интересом присматриваясь к Рябушкину.

— Докажите! — сказал он спокойно.

— А конюх-то ваш проговорился тогда. Запряг было любимого вами Звездочета, а вы велели оседлать другого коня. А ведь всем известно, что на других-то конях вы, Николай Михайлович, обычно никуда не ездили...

— Ну, это не доказательство! — искренне засмеялся Саратовкин. Ему вдруг стало безудержно весело оттого, что этот неприятный, но умный человек не смог доказать его вины.

Понизив голос, Николай сказал заговорщически:

— Если хотите — все так оно и было, как вы говорите.— А потом с озорством воскликнул: — А я буду отрицать! И вы не докажете! Не докажете!

— Да, к сожалению, пока фактов маловато. Одна интуиция да размышления. Но соберу, господин Саратовкин, не радуйтесь, соберу.

— Теперь поздно, господин Рябушкин! — опять засмеялся Николай Михайлович.

— Отстранить человека сомнительного в убеждениях от воспитательной работы никогда не поздно. А для вас это смерти подобно. Страшнее каторги.

Веселье мгновенно покинуло Николая Михайловича. Следователь нащупал самое страшное, самое больное.

— Ну, пожалуй, я пойду,— сказал он, вставая и наслаждаясь произведенным эффектом.— Или, может быть, покажете свое заведение? Любопытно ведь.

Николай Михайлович тоже поднялся:

— Пока смотреть нечего. Вот через полгодика зайдите — покажу.

— Раньше зайду, Николай Михайлович! Через полгодика сколько воды-то утечет! Раньше! — значительно сказал Рябушкин и вежливо раскланялся.

Николай Михайлович так же вежливо проводил его до дверей. А потом долго ходил по комнате, ждал, когда уляжется беспокойство, причиненное посетителем. Наконец он заставил себя сесть за стол и разобрать утреннюю почту.

Но успокоиться ему сегодня, видно, было не суждено: таким уж особенным выдался этот день. Первое же письмо с петербургским штемпелем, которое он недоуменно повертел сначала в руках, а потом уже разорвал конверт, поразило его.

— Боже мой! — шепотом сказал Николай Михайлович.— Она! Любава! Сколько лет!

Он читал стоя, взволнованный, раскрасневшийся, с бьющимся сердцем.

Николай Михайлович!

Теперь мы люди одного общества, и я могу написать Вам.

Прежде нас разделяло Ваше богатство. Вы сделали великий и, как все великое, трудный шаг. За это я уважаю Вас еще более, чем прежде. Хотя и прежде Вы отличались от тех, кто владел капиталами. Очень отличались. Вы всегда напоминали мне волчонка, с малых лет воспитанного людьми, который, услышав волчий вой, доносящийся из леса, терял покой и рвался туда, к своим...

Прежде нас разделяло еще и то, что Вы были образованным, я — малограмотной. Теперь и в этом я догоняю Вас. Посещаю женские Бестужевские курсы. Учиться трудно потому, что у меня две девочки-двойняшки, очень похожие на меня.

А теперь нас с Вами разделяет одно: я для Вас никто. А Вы для меня... все.

С какой радостью и болью я вспоминаю зимнее кладбище, мрачный склеп Саратовкина со страшной в покорности своей надписью: «Да будет воля Твоя!» и Вас, Николай Михайлович! Если бы Вы знали, чем были тогда для смешной, необычной, правда, девчонки Любавы.

А ведь я могла бы тогда заставить Вас полюбить меня, жениться на мне. Могла бы, но не хотела использовать силу, данную мне природой.

Простите, что напоминаю о себе.

Любава.

И ни адреса, ни фамилии!

19

Грозный с трудом оторвался от рукописи. Его тревожило то, что он еще не заглянул в расписание уроков на завтра.

Он убрал рукопись в папку и положил ее с краю стола. Под папкой лежало расписание. Оно — это расписание — было сделано руками лучшего художника школы и от седьмого класса «В» преподнесено Николаю Михайловичу ко дню рождения.

Завтра — урок истории, как раз в седьмом «В».

Николай Михайлович долго ходил взад-вперед по комнате, «переключаясь», как он определял для себя это состояние.

Наконец он подошел к карте. Остановился подле нее. Мысленно он уже был в кабинете истории и перед ним сидели семиклассники. Тема урока: «Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева».

«Закончу я урок так:

«Вы знаете, что в прошлом году свой отпуск я посвятил поездке в Германскую Демократическую Республику?..»

«Знаем! — дружно отзовется класс.— Расскажите!»

«Примерно в двух с половиной часах езды на машине от Берлина стоит город Цербст. Стоит он уже тысячу лет. Я посетил Цербст, имея в виду программу седьмых классов и наш сегодняшний урок...»

Николай Михайлович знает, что в этом месте Ильюшка Крикунов — тот, которому учительница литературы поставила двойку за то, что он Дон-Кихота назвал «чокнутым», а если не Ильюшка, то кто-то другой обязательно подмигнет соседу по столу и усмехнется: «Самому до смерти было интересно, поэтому и поехал в Цербст...»

«Как вы знаете, немецким языком я владею, потому что серьезно относился в школе к этому предмету...

В Цербсте я зашел в старинное здание музея. Это бывший монастырь, который 400 лет тому назад был переделан в школу.

Во вторую мировую войну, как вы помните из истории, американцами был открыт второй фронт. Трижды предлагали коменданту города сдаться, но он трижды отвел их предложение, и над городом взвились американские самолеты, разбомбив его на 82 процента.

Меня сопровождал директор музея, он же учитель истории школы, что находится наверху, над музеем.

Чем же, друзья мои, заинтересовал меня — и, я уверен, заинтересует и вас — город Цербст — столица захудалого Ангальт-Цербстского княжества, о котором, вероятно, никогда бы не упоминалось в истории, если бы...

Если бы его последняя принцесса Софья-Августа не стала бы великой царицей русского государства — Екатериной II...»

Николай Михайлович знал, что уж теперь-то в классе установится звенящая тишина.

«Из Цербста Софью-Августу в 1744 году увезли в Россию в пятнадцатилетнем возрасте, где она из лютеранской веры, которую исповедовала, перешла в православную, приняв имя Екатерины, и была выдана замуж за Петра.

Директор музея вывел меня за пределы старого города, обнесенного каменной, кое-где сохранившейся стеной. Там стоял княжеский дворец. Сохранились развалины его. В зияющие, огромные окна видны были кирпичные перегородки. Видимо, дворец был красив и богат. Фасад его украшали колонны. Сохранились части статуй. Кого хотел изобразить скульптор фигурой в длинном одеянии с книгой в руках?

Видимо, дворец этот был образцом, по которому строились потом в Петербурге роскошные екатерининские дворцы.

Мы возвратились в музей. Я долго простоял перед прекрасно написанным портретом Софьи-Августы в двенадцатилетнем возрасте. Худенькая, голубоглазая принцесса, с тоненькой лебединой шейкой и забранными кверху пышными светлыми волосами, в модном национальном наряде, казалась много старше своих лет.

Еще дольше я простоял перед другим портретом, написанным, судя по художественной манере, тем же неизвест-

ным художником. Это была Софья-Августа уже в пятнадцатилетнем возрасте, в том году, когда она навсегда покинула родину.

На меня глядело совершенно другое лицо красивой, очень румяной женщины, с такими же, как на том портрете, пушистыми волосами, забранными кверху и украшенными драгоценностями. В ярко-голубых глазах затаились ум, воля, жестокость. Такая могла преодолеть преграды любой ценой, участвовать в борьбе придворных еще при жизни императрицы Елизаветы Петровны, организовать дворцовый переворот, захватить трон мужа — Петра III, кровью подавить Пугачевское восстание, избавиться от претендента на престол Ивана VI Антоновича, с младенчества и на всю жизнь заключив его в крепость.

Я видел портреты матери и отца Софьи-Августы. Видел картину, изображающую преображенный Цербст, провожающий свою принцессу в Россию.

А немец — учитель истории — в этот момент, вероятно, уже в тысячу первый раз стоял тут же, пламенно пожирая глазами картину».

«По увлеченным лицам ребят,— думал Грозный,— я почувствую, что не зря потерял день для того, чтобы побывать в древнем Цербсте, и это поможет мне провести уроки интересно».

Но в это время, а может быть, даже и раньше, конечно же, Грозного перебьет звонок, и, как это часто случается, он будет досказывать на ходу, в коридоре, толпе двигающихся за ним учеников... Суть учения Лютера, страшную судьбу маленького царя Ивана Антоновича VI, подробности заговора Екатерины... И вопросы будут бесконечны...

...Грозный оторвался от карты, прижавшись к которой он импровизировал урок истории в седьмом классе.

— Ну, а воспитательная цель этого урока? Как оправдаю я тезис своего тезки Саратовкина и свой: «Учитель в первую очередь должен быть воспитателем»? — вслух спросил себя Грозный.

На всем нужно расставить акценты, да так, чтобы они, во-первых, дошли до сердца учеников, а, во-вторых, не были нарочито воспитательными, «в лоб». Этого дети не терпят.

Нет, урок может быть не только образовательным, но и воспитательным. Он будет таким, если учителя не покинет вдохновение»,— думал Грозный. И он с удовольствием ждал завтрашнего дня.

Встреча Николая Михайловича Грозного и Сергея Федоровича Веретенникова состоялась в один из осенних вечеров.

— Вот так и бывает,— пожимая руку Веретенникова в его просторной прихожей и проходя в комнату, говорил Николай Михайлович.— Живем в одном городе, давно знакомы, встречаемся и по работе и просто так, и оказывается, ничего, решительно ничего друг о друге не знаем. А я-то со своими учениками весь архив перевернул в поисках сведений о Саратовкине. Ну, а дежурства на могиле они сами придумали и вот «засекли» вас.

— Да, фигура «разведчика» была внушительной, когда мы оба, обнажив головы, долго и молча стояли над могилой,— улыбнулся Сергей Федорович.

— Итак, вы были учеником Саратовкина? Когда же вы кончили школу и какую?

— Ту самую, где преподаю, Николай Михайлович,— шестую. А окончил ее в 1932 году. И профессию свою выбрал исключительно потому, что был учеником Саратовкина. Вот она, преемственность поколений! Большой человек был! Учитель талантливый, настоящий. Как хорошо, что вы решили написать о нем! Знаете, есть люди, которые умеют говорить о себе. А он нет, всегда был молчальником. Даже не от скромности, а от убеждения. Дело его жило, а он был всегда в стороне. Будто бы и ни при чем.

В это время в кабинет, где расположились хозяин и гость, вошла жена Веретенникова. Ее выцветшие черные глаза, поблекшее лицо с правильными чертами, кое-где с морщинами хранило следы былой красоты. Вероятно, она, подобно многим красивым женщинам, не легко сдавалась старости. Ее седые, подсиненные и уложенные в парикмахерской волосы, модный брючный костюм, умеренная голубизна у глаз и розовый отсвет губ говорили об этом.

Она протянула руку гостю и только хотела пригласить к столу, как Сергей Федорович вскричал:

— Да вот и Люся была ученицей Николая Михайловича! Вместе сидели за партой.

«Значит, вместе прошла вся жизнь»,— почему-то, в первую очередь, с грустной, легкой завистью подумал Николай Михайлович и только потом представил, как в классе за партой сидят он и она — подростки. Их дружба тогда,

очевидно, еще не переродилась в любовь. И мудрости сложной и даже страшной жизни, в водоворот которой вот-вот должны они броситься, их учит замечательный человек, все видящий и все понимающий. Конечно, с его напутствием было легче шагать по запутанным лабиринтам...

И теперь, наверное, давно ушла та юношеская любовь, снова уступив место дружбе, которая стала еще крепче той, что была в четырнадцать лет,— дружба самоотверженная и грустная на пороге вечной разлуки...

— За столом и поговорим! — улыбаясь, сказала Людмила Викторовна.

Но за обедом уходить в глубь той темы, которая интересовала Грозного, было трудно. За столом появились внуки, требующие внимания бабушки, дедушки и гостя: трехлетний толстый и неповоротливый Янек и все сокрушающая на своем пути четырехлетняя Верочка.

Верочка тут же украсила плечо брата компотом, который он равнодушно стряхнул, затем она смахнула на пол вилку и, ползая под столом, потрогала ботинок Николая Михайловича, а потом сообщила:

— Дядя упадет. И носик разобьет. Шнурок у него плохо завязан. Надо бантиком.

Николай Михайлович на полном серьезе отодвинулся от стола вместе со стулом и покачал головой.

— Действительно, торопился и забыл завязать бантиком.

Янек слез со стула, проверил свои ноги и солидно сказал:

— У меня бантиком.

Затем снова уселся на стул, вооружился ложкой и спокойно стал есть суп, стараясь не проливать и поглядывая исподлобья: смотрят ли на него взрослые?

И в эти минуты Грозному больше чем когда-либо взгрустнулось о своей одинокой, неустроенной жизни. Конечно, ученики всегда около него. И школьную жизнь он привык считать своей, личной жизнью. Но все же это не совсем так...

А Веретенников словно понял его:

— Так и прожил Саратовкин всю жизнь в одиночестве, всего себя отдал детям. Сначала приют. Потом, в революцию, подбирал в колонии и воспитывал беспризорников. Затем был директором и учителем шестой школы. А конец обычный — заболел, ушел на пенсию.

— Как же он один в старости?

— Старость и всегда нелегка,— сказала Людмила Викторовна, подавая Грозному отбивную с румяным картофелем,— а у него она оказалась просто трагической. Скончался в доме престарелых. Правда, ученики помнили. Навещали. Ученики же и похоронили его.

— Как это похоронили, бабуля? — спросил Янек, переставая жевать.

— В ямку закопали. И все,— пояснила Верочка.

— Действительно все. Истина глаголет устами ребенка,— сказал Грозный.

После обеда Людмила Викторовна повела детей спать, а мужчины вернулись в кабинет.

Сергей Федорович достал из книжного шкафа старую папку, развязал ее и открыл. В ней лежали стопки тетрадей с немного выцветшими, но аккуратными обложками.

— Это дневники моего отца. Здесь вы найдете много о Саратовкине. Отец боготворил его. Считал великим педагогом. После революции он делал в Сибири то же, что Макаренко. И сколько же путевок в жизнь дал он молодежи! Скольких уберег от смерти физической и моральной! Учтите, Николай Михайлович, дневник отдаю только на время. Это фамильная реликвия.

— Понимаю. Сохраню в целости. И благодарен безгранично вам, Сергей Федорович. Отнесусь, как к святыне.

— Да, забыл еще. Тут же есть фотография!

Он долго перекладывал тетради, перелистывал их и встряхивал и, наконец, достал фотографию.

Группа беспризорников в пальто, полушубках с чужого плеча. На головах у кого что — и красноармейские шлемы, и выношенные старинные шапки, и потрепанные фуражки. Все стоят. Видимо, жмутся от холода, хотя и находятся в помещении. А в середине на табурете сидит человек средних лет, тоже в поношенном пальтишке и старом помятом картузе.

Николай Михайлович так и впился глазами в лицо Саратовкина.

— Я же не ошибся. Я таким и представлял его! — в волнении воскликнул он.— Какая улыбка! Тут и скромность, и доброта, и обаяние. Видите — руками обхватил близстоящих мальчишек, хотел, наверное, выдвинуть их на первый план, а самому остаться в стороне. Подкидыш! Миллионер! Все отдавший детям — и состояние свое, и всю

жизнь! Учитель! — В глазах Николая Михайловича блеснули слезы.— Ну, что же, мы переснимем, увеличим. Сами сделаем мемориальную доску, вывесим на школе. Своими руками создадим памятник.

— А не лучше ли обычным путем?

— Нет. Это должны делать дети. Обязательно дети, которым он сохранил их отцов. И деньги у нас есть. Я уже давно определил гонорар за книгу на эти расходы.

21

В мире все повторимо. В школе же одно событие следует за другим по точному, монотонному расписанию. И все же события повторяются по-разному.

Каждый год, на пороге лета, двери школы открываются, чтобы выпустить в жизнь тех, кто десять лет провел здесь. Но уходят воспитанники школ по-разному и по-разному вступают в большую жизнь. Одни целеустремленно и легко, другие безвольно, ощупью. Иные с первых шагов становятся пасынками жизни, а другие любимыми детищами. И ведь нельзя признать, что иной раз пасынок во сто крат достойнее любимого детища. Но жизнь причудлива и сложна. Поэтому Грозный с беспокойством и затаенной грустью провожал в дальний путь свой десятый «А».

Отгремел выпускной вечер. Как всегда, разошлись на рассвете. А назавтра, в сумерках, собрались на прощание в «Избе раздумий». Из учителей попросили прийти только Грозного.

Этот голубой сумеречный час летнего дня был незабываемо хорош. И наверное, романтичнее было бы провести его в кольце молодых елей, сосенок и кедров, осветив огромным костром темнеющее небо, старую баньку и буйный сиреневый цвет багульника на взгорке. Но последний раз хотелось побыть именно там, где три года загорались мечты, завязывались непримиримые споры, складывались убеждения.

— Незабываемая «Изба раздумий»! Как много дала ты нам, старая банька, построенная каким-то дореволюционным мужичком! — сказала Лаля Кедрина.

Она превратилась в хорошенькую девушку. На ней было нарядное кружевное платье, и теперь уже белый цвет не полнил ее подобранную фигурку.

— Здесь я поняла, как смешон мой протест против родителей. Я им назло небрежно одевалась, вела себя при гостях вызывающе, огорчая маму. А чем она не права? Она любит старинные вещи. Она привыкла к этому и была воспитана видеть смысл жизни только в семье. А отцу я всегда давала понять, что не принимаю его живописи... И этим тоже огорчала его...

— Дамы и господа! О предках не будем говорить в эту прощальную ночь,— насмешливо сказал Никита своим сильным, бархатным голосом.

Он достал из нагрудного кармана нового светло-серого костюма ярко-красную расческу и, по привычке приводя в порядок волосы с безукоризненной укладкой, выполненной природой от рождения, взглянул в маленькое, кое-где облупившееся зеркало, висящее на гвозде, вбитом в бревно стены. Лицо было красиво и яркой молодостью, и безупречными чертами лица, и выражением мысли.

— А кто, скажи, Ляля, подсказал тебе задуматься над твоим поведением? — спросила Наташка.

— Ты, конечно!

— Ой ли?! Подумай-ка!

— Грозный, Наташка, Грозный!

— То-то же! Не я и не изба сама по себе. А тот, кто всегда был с нами.

— Ну, а родители твои очень переживают, что ты решила стать учительницей? — спросил Лялю Никита, загоняя в карман поглубже красную расческу.

— Ты же не хотел о «предках»! — отрезала Ляля.

— И вот в этой самой «Избе раздумий» через шесть лет ты будешь помогать своим ученикам разбираться в своих ошибках, учить отношению к людям, открывать непонятные явления в жизни — словом, как Грозный...— оставляя без ответа реплику Лали, не отставал Никита.

— Буду. И с радостью. Только суметь бы. Сам знаешь, как трудно с нами. Не всякому мы душу свою откроем. А ты, Никита, порадуешь своего отца тем, что на экране он будет видеть ежедневно твою физиономию и сделанную приветливую улыбку: «Добрый вечер, товарищи!»

— А ты знаешь, для того чтобы стать диктором, нужно иметь театральное образование? — спросила Наташка.

— Николай Михайлович узнавал для меня это официально. Эх, младенцы! Если б вы понимали, сколько для меня сделал этот человек! — вздохнул Никита.

— Опять Николай Михайлович,— со значением сказала Наташка, словно бы нарочно заставляя всех сосредоточиться на достоинствах учителя.

— А может, и так проскочу! — снова сказал Никита.— Ведь голос-то у меня почище левитановского.— Он покрякал, прочищая горло, и сказал удивительным звенящим басом, отдающим металлом: — Не голос, а бархат! N-ская телевизионная студия потеряет — московская подберет. Не выгодно землякам терять такого диктора.

И хоть сказано все это было на полном серьезе, что обычно десятиклассникам кажется безудержным, дерзким хвастовством,— никто не возразил. В самом деле, голос-то был необычный и внешность хороша, если не считать небольшой рост Никиты. Но роста на экране не видно. Да и у Николая Михайловича рост не велик, а человек — человечище!

Такое же необычное будущее избрала себе белокурая красавица Анастасия Платонова, по прозвищу «Аэлита».

— Буду манекенщицей,— сказала она неожиданно, загадочным взглядом зеленых глаз окинув товарищей, и, вскочив, изящным движением развела в стороны руки, как бы стараясь не загораживать ими наряд, стала переступать стройными ножками в лаковых туфельках на десятисантиметровых каблуках, приподняв голову с выражением, говорящим: «Любуйтесь не только платьем, но и отличной фигурой моей и красивым лицом». Платьем-то и в самом деле любоваться было нечего: простое, скромное беленькое платье. Но как обнимало оно ее бедра, высокую грудь, удивительные линии тонкой талии, покатых плеч; как открывало изящные руки и лебединую шею!

Молодость, молодость, почему ты так коротка и неповторима?!

Семен Неверов, как и многие юноши, закурил папиросу.

— Ну, чего воздух портите!—прикрикнула Наташка.— Шли бы на улицу дымить! Бестактно же это: пятеро дымят, а двадцать задыхаются. Ничему-то вас жизнь не выучила!

— Ладно уж. Не бухти! — миролюбиво сказал Семен и, поискав взглядом, куда бы сунуть папиросу, поднял ногу и прижал горящий край ее к подошве.

Так же поступили остальные.

— Мелкую профессию выбираешь,— сказал Семен Аэлите.— Лучше бы вышла замуж, народила крошек и вос-

питывала будущее поколение. Замуж тебя всякий возьмет: красивая!

— А ты бы взял? — поинтересовался Никита.

— Я? Нет, конечно.

Наталья возмутилась.

— А не кажется ли тебе, Сенька, что ты своими словами оскорбляешь женское и человеческое достоинство?

— Не кажется. Убедись! — Он кивнул в сторону Насти Платоновой.

Та действительно, словно и речь-то шла не о ней, расправляя платье, усаживалась на скамейку, принимала изящную позу и обычной своей заученной улыбкой старалась привлечь взгляды мальчишек.

Наташка внимательно посмотрела на Аэлиту и примирительно сказала:

— Ну, ладно!

— И совсем не ладно,— вдруг запротестовала Настя. Запротестовала удивительно спокойно.— Понимать надо, в какое время мы живем. Все вы заглянете в журнал мод, прежде чем шить себе одежду. И не раз еще меня вспомянете. Отошло время ходить растрепами. Красота одежды, вкус, линии — это и радость дает и настроение улучшает. Это тоже искусство. Понимать надо. А то Семен: «мелкая профессия»! Нет профессий мелких и крупных. Все одинаковы!

— А что, «ашники», Настя права,— подумав, сказала Наташка. Как всегда, непонятно, почему она и здесь заняла роль председателя.

— Ты, будущий историк,— обратилась она к Семену, который встал и вышел на середину комнаты,—собираешься высказаться?

— Нет,— удивленно сказал Семен.

— Тогда зачем занял место оратора?

— Не знаю,— пожал плечами Семен и вдруг спохватился: — Да, вот о чем я хотел сказать.

Он стоял немного сутулясь, чтобы головой не задеть потолок.

— Вот повесть Николая Михайловича на днях выйдет в свет. Он так надеялся, что с прощального вечера все мы разойдемся с его книгой и автографом, напутствующим каждого. Я знаю, что у него в записной книжке уже заготовлены эти автографы.

— Ты всегда все знаешь! — ворчливо вставила Лаля.

— Но книга не успела выйти,— продолжал Семен, не обращая внимания на Лалину реплику.— Она, эта книга, в которую и мы вложили так много труда (и, главное, в процессе работы поумнели, многое поняли),— она догонит нас в пути. Обязательно догонит. Без напутствия, которое будет написано рукой Грозного каждому, на первой странице, он не отпустит нас в дальнее плавание. Мы знаем, что образ Саратовкина — это в какой-то мере образ Грозного.

— И любовь Николая к Любаве — это его любовь к той однокласснице,— поправляя на плечах лежащий пух взбитых кремовых волос, с обворожительной улыбкой вставила Настя.

Семен покосился на Аэлиту, но вынужден был согласиться.

— Да, это его любовь. И одиночество Саратовкина — его одиночество. И мысли и рассуждения — все его. От Саратовкина он принял эстафету. Это называется, Анастасия,— он почему-то обратился именно к ней,— преемственностью поколений. Понятно?

— Понятно! — весело сказала она.— Ребята, давайте танцевать. У нас же есть приемничек,— кивнула она на высокого, меланхоличного юношу, у которого через плечо висел небольшой кожаный футляр.— Давай веселую музыку!

— Нет, Настя, ты всегда не в том ключе,— сказала Ляля.— Танцевали мы вчера. До рассвета танцевали. И сейчас ноги болят. Теперь же мы в «Избе раздумий». И последний раз все вместе. А ты — танцевать!

— Девчата! Ребята! Слушайте! — загорелась Наташка, как обычно внезапно.

И все примолкли. Сейчас что-то выкинет. Ах, как удивительно не изменилась она с восьмого класса. Все такой же здоровенький крепыш, густо подрумяненный. Ноги, обтянутые чулками, крепкие-крепкие. Смотришь на них и думаешь — вот так же крепко будет стоять она в жизни. Не зря за нее более, чем за кого-либо, был спокоен ее учитель. Даже то, что она, как другие, еще не определила своего будущего, сказала: «Год поработаю, присмотрюсь»,— он считал правильным решением.

— Мои бывшие одноклассники! — торжественно сказала она.— Представьте себе, что на школьном вечере мне дали слово от нашего десятого «А». Уполномочиваете?

В ответ послышались шумные аплодисменты, и никто не услышал, как в этот момент открылась и закрылась дверь. Внимание всех было приковано к Наташке, и никто не увидел Николая Михайловича Грозного.

— Дорогие товарищи! — прочувствованно сказала Наташка.— Вот мы кончили школу и сегодня последний раз собрались все вместе. Я не буду занимать вашего внимания и постараюсь сказать то, что у меня на сердце, предельно коротко. Мы выросли в этих стенах, получили образование, кто хотел и мог — крепкое, кто не хотел и не мог — слабее. На стене нашей учительской с тех пор, как мы учились в восьмом классе, сияла фраза, написанная век тому назад замечательным нашим земляком и педагогом Николаем Михайловичем Саратовкиным: «Легче сделать воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как высшей ценности, чтоб с детства человек был другом, товарищем, братом для другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем». Эта истина была взята на вооружение нашими учителями. Не всеми, конечно. Но нес ее в своем сердце уважаемый и любимый всеми нами, справедливый и умный директор наш Павел Нилович, и Мария Савельевна, и Ольга Николаевна. Ну и, конечно, в первую очередь, наш классный руководитель Николай Михайлович Грозный. Наш учитель Николай Михайлович равен тому Николаю Михайловичу из прошлого века, о котором сведения мы, как ошалелые, разыскивали в архивах, бегали по городу, дежурили на кладбище. Да понимаете ли вы, ребята и девчата, как наполнил он нашу жизнь важным, воспитывающим, увлекательным делом?! Как умно, как тонко, с каким талантливым педагогическим прицелом придумал он нам это занятие?! А эта «Изба раздумий»! Здесь он вдумчиво и осторожно открывал нам жизнь со всей сложностью ее, жестокостью и радостью. Мы все это ценим и сейчас. Но особенно оценим, наверное, тогда, когда пройдут годы...

Наташка загорелась еще больше, блеснула глазами, прижала руки к груди.

— Друзья! Не сочтите за сентиментальность, если я от лица нашего десятого «А» принесу земной поклон нашему учителю.

В полной тишине, под изумленными взглядами одноклассников, она склонилась в низком поклоне, правой рукой коснувшись пола.

И тут все услышали, как скрипнула дверь, взметнулась портьера, и на фоне голубых сумерек на мгновение мелькнула спина Николая Михайловича.

— Ушел! — сказала Лаля, вытирая кулаком глаза.— Не выдержал и ушел! А когда пришел — не заметили! Ну, сумасшедшая же ты, Наташка!

Наталья выпрямилась.

— Ну, в школьном зале ты этого, надеюсь, не сделала бы! — сказал Семен.

— Конечно,— отозвалась Наташка.— Это я здесь, в русской избе, по старорусскому обычаю, для вас и для себя главным образом.— И растерянно добавила: — А он видел! Как же так вы-то его не заметили!

В тишине «Избы раздумий» послышался звук отъезжающей машины.

Взволнованный Николай Михайлович подосадовал на стекла «Москвича», которые запотели. Но потом он понял, что дело не в стеклах... Он достал платок и вытер глаза.

Вскоре он остановил машину, вышел из нее, постоял, затем поднялся на гору и сел на нависший над дорогой выступ скалы, обросший мохом и кустарником.

Сумерки все еще не перешли во мрак. Но удивительная синева этого часа сгустилась до предела. Там, далеко-далеко, где еще слабо розовело синее небо, за резные макушки кедрачей недавно ушло солнце, и к нему мимо скалы, на которой сидел учитель, шла дорога, окаймленная по краям буйно разросшимся подлеском... Он смотрел на широкую проселочную дорогу в ямах и рытвинах, на стройные, но еще слабенькие деревца по краям ее по-прежнему затуманенным взглядом и не мог унять в себе волнение.

Потом он по-мальчишечьи спрыгнул со скалы прямо вниз, на дорогу. Сел за руль, взял первую, вторую, потом третью скорость. Волнение улеглось. Уступило место тихой радости, и он помчался по широкой дороге догонять уходящее солнце.

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для старшего возраста

Агния Александровна Кузнецова

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

ИБ № 1736

Ответственный редактор *Е. М. Подкопаева* Художественный редактор *А. В. Пацина*. Технические редакторы *И. Я. Колодная* и *Г. Г. Стан.* Корректоры *Е. И. Мартынова* и *Н. А. Сафронова.*
Сдано в набор 23/VIII 1976 г. Подписано к печати 20/I 1977 г. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 9,94. Тираж 100 000 экз. А03715. Заказ № 4103. Цена 48 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Кузнецова А.

К 89 Земной поклон. Повесть. Рис. Н. Кравченко. М., «Дет. лит.», 1977.

175 с. с ил.

Повесть об учителе и старшеклассниках одной из школ Сибири, о величии и сложности труда педагога.

К $\frac{70803-222}{М101(03)77}$ 263—77

Р2

